ШКОЛА КЕМБРИДЖСКАЯ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Интеллектуальная история

Сборник

Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории

«НЛО»

2018

УДК 930.2(091)(410)«18»
ББК 63.2(4Вел)52-2

Сборник

Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории / Сборник — «НЛО», 2018 — (Интеллектуальная история)

ISBN 978-5-4448-1032-3

Цель настоящего сборника – показать методологическую и практическую актуальность в России одного из самых влиятельных направлений в современной западной интеллектуальной истории: Кембриджской школы изучения политических языков. Книга разделена на три части. Первая часть содержит фундаментальные теоретические манифесты, созданные Квентином Скиннером и Джоном Пококом. Вторая включает ставшие классическими тексты, обсуждающие базовые методологические принципы Кембриджской школы, а также ее соотношение с теорией Begriffsgeschichte и археологией знания Мишеля Фуко. В третьей собраны работы, призванные показать возможности применения «кембриджского» метода в исследованиях ключевых сюжетов истории русского политического языка: формирования светского языка политики в XVIII веке, идиом и представлений о собственности Екатерины Великой, языка и контекста публикации первого «Философического письма» Чаадаева, риторических ходов и аргументов в судебной защите Веры Засулич, эволюции репертуара республиканских понятий добродетели и коррупции в России XVIII–XX веков, а также историософских языков в труде «Государство и эволюция» Егора Гайдара.

УДК 930.2(091)(410)«18»
ББК 63.2(4Вел)52-2

ISBN 978-5-4448-1032-3

© Сборник, 2018
© НЛО, 2018

Содержание

Тимур Атнашев, Михаил Велижев 6
Кембриджская школа как институт 8
Квентин Скиннер и Джон Покок 11
Методология Кембриджской школы и два поворота в гуманитарных науках XX века 17
Текст как полемическое высказывание: авторские интенции и языковой контекст 22
Кембриджская школа в России 25
Литература 31
Методологические манифесты 36
Квентин Скиннер 36
I 37
II 48
Конец ознакомительного фрагмента. 50

Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории

Тимур Атнашев, Михаил Велижев
Кембриджская школа: история и метод[1]

Кембриджская школа изучения политических языков Нового времени – одно из самых влиятельных направлений в современной исторической науке о политической философии: она насчитывает множество ученых, исследовательских проектов, книжных серий и изданий. Историки, называющие себя последователями «кембриджского» метода, проводят регулярные конференции и семинары во многих странах мира – от Новой Зеландии и Бразилии до США и Финляндии. Наряду с Begriffsgeschichte Кембриджская школа является яркой и привлекательной методологической программой изучения политических понятий и языков. Дебаты вокруг соперничества двух направлений – британского и немецкого – конституируют научную идентичность отдельных исследовательских сообществ (так, один из таких центров, занимающийся в том числе анализом методологических полемик, находится в итальянской Падуе, где работают С. Киньола и Дж. Дузо)[2].

В России известны отдельные работы основателей Кембриджской школы – Кв. Скиннера, Дж. Покока, Дж. Данна. В жанре истории политических языков работают специалисты центра «Res Publica» под руководством О. В. Хархордина и другие исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге (в том числе развивая научные концепции других теоретиков – прежде всего, М. Фуко и Б. Латура)[3]. Кроме того, важные материалы по истории и теории Кембриджской школы (включая переводы) появились на страницах журнала «Логос». С 2015 года авторы настоящего предисловия предприняли серию публикаций в журнале «Новое литературное обозрение», призванных ввести в российский научный оборот концептуальные труды Скиннера и Покока и интерпретировать классические для российской истории случаи общественных полемик, прямо опираясь на «кембриджскую» методологию. Широкая рецепция теории и практики Кембриджской школы постепенно начинается; свидетельство тому – недавний перевод на русский язык opus magnum Скиннера «Истоки современной политической мысли» [Скиннер 2018][4], который вышел в издательстве «Дело». Отрадно, что, наконец, спустя сорок лет после первой публикации двухтомника он – в прекрасном переводе А. Олейникова и А. Яковлева – стал доступен российской читающей публике. Вместе с тем дискуссия о методологии Скиннера, по сути, отсутствует, ее еще только предстоит провести.

---

[1] Статья представляет собой существенно переработанный и дополненный вариант работы: *Атнашев Т., Велижев М.* «Context is king»: Джон Покок – историк политических языков // НЛО. 2015. № 134. С. 21–44.

[2] Среди множества работ, посвященных методологии Кембриджской школы, выделим, на наш взгляд, ключевые тексты, принадлежащие различным европейским научным традициям: [Phillipson, Skinner 1993; Tuck 1993; Dunn 1996: 19–22; Palonen 2003: 11–28; Дмитриев 2004; Chignola, Duso 2008; Guilhaumou 2010: 59–63; Mulsow, Mahler 2010].

[3] Подробный обзор работ по истории понятий и истории политических языков в России см., например, в: [Топычканов 2016].

[4] Пользуясь случаем, мы хотели бы предложить иной вариант перевода названия монографии Скиннера – «Основания современной политической мысли». О корректности такого перевода («основания» вместо «истоки») свидетельствует, в частности, финальная фраза книги, перекликающаяся с ее названием: «С таким взглядом на государство (как у Жана Бодена. – *Т. А., М. В.*) – как могущественную, но безличную власть – мы вступаем в новый мир: современная теория государства еще не построена, но работы по закладке фундамента (foundation) полностью завершены» (пер. А. Яковлева) [Скиннер 2018, 2: 534]. Перевод «истоки» лучше соответствовал бы английскому термину «origins», который использован, например, в классической работе Б. Бейлина «The Ideological Origins of the American Revolution» (1967), в русском переводе Д. Хитровой и К. Осповата – «Идеологические истоки американской революции» (2010).

В настоящем сборнике мы попытаемся продолжить разговор о состоятельности методологической концепции Кембриджской школы и о границах ее применения на российском материале. Для этого мы объединили переводы на русский язык классических статей по *методологии* Кембриджской школы интеллектуальной истории и ряд *историографических* работ отечественных ученых (Тимура Атнашева, Татьяны Борисовой, Константина Бугрова, Михаила Велижева, Сергея Польского, Екатерины Правиловой), которые предлагают свои подходы к изучению общественно-политических языков в России. Бóльшая часть исследований выполнена под прямым методологическим влиянием Кембриджской школы, а часть – реализована с близких теоретических позиций.

Кембриджская школа как институт

Прежде всего отметим, что термин «Кембриджская школа» является конвенциональным. Это не столько самоназвание научной группы, сколько описание широкого круга исследователей, объединенных общей методологической программой, прежде всего связанной с историческим анализом политических идиом. Корни школы связаны с Кембриджским университетом – биографически и программно. К Кембриджу так или иначе имеют отношение основатели направления – именно в этом учебном заведении долгое время преподавали Скиннер и Данн, а Покок учился в аспирантуре и защищал диссертацию. Одновременно указание на кембриджский интеллектуальный контекст (особенно на рубеже 1940–1950-х годов) указывает на основополагающую для Скиннера и Покока связь их воззрений на политический язык с разысканиями Людвига Витгенштейна и с его посмертно изданной работой «Философские исследования». (В скобках заметим, что Оксфордский университет, в котором работал Дж. Остин, также немаловажен для истории Кембриджской школы.) Нам не удалось установить, кто именно ввел в научный оборот термин «Кембриджская школа». Возможно, устоявшееся название связано с книжными сериями Кембриджского университета «Cambridge Texts in the History of Political Thought» и «Ideas in Context» [Clark 2006: 215–216; Бивир 2010: 114]. Кроме того, структурообразующими для институционального строительства школы стали сборники «Philosophy, Politics and Language», ежегодно издававшиеся в Кембридже Питером Ласлеттом с 1956 года, и, существенно позже, работа целого ряда центров истории британской политической мысли, самый известный из которых – центр в Вашингтоне (на базе Шекспировской библиотеки Фолджера), основанный Пококом.

Символическое начало «Кембриджской школы» было положено в 1949 году, когда Ласлетт выпустил (что характерно – в Оксфорде!) отдельное издание трактата «О патриархе» английского политического мыслителя середины XVII века Роберта Филмера. Ученый четко разграничил три «контекста», которые задавали разные смыслы для высказывания: создание, публикация и активная рецепция текста. Тем самым Ласлетт отделил авторскую *интенцию* от идеологического *воздействия*, которое впоследствии оказало сочинение Филмера («intention» от «effect», по выражению Покока [Pocock 2006: 37]). Более того, оказалось, что связанные с текстом «О патриархе» «Два трактата о правлении» Дж. Локка написаны не после, а до Славной революции 1688 года, – и тем самым политический ход, связанный с обнародованием сочинения Локка, обретал совсем иной смысл: служил не оправданием революции, но призывом к сопротивлению. Таким образом, Кембриджская школа более чувствительна к *коммуникативной* природе политических высказываний. В дальнейшем синонимическим термином для определения «кембриджского» научного направления стало понятие «contextualism» (обсуждение метода см. в: [Skinner 1988a: 275–277[5]; Bevir 1992; King 1995; Hume 2006; Бивир 2010; Floyd, Stears 2011]), указывающее на ключевую роль исторического контекста при интерпретации политических текстов прошлого. Историзирующий подход формируется в противовес истории идей, эмблемами которой для Покока и Скиннера служили «антиисторичные» А. Лавджой и Л. Штраус[6], и гипостазированию объективно реконструируемых «идей» или «концептов» в рамках Begriffsgeschichte Райнхарта Козеллека.

Ныне понятие «Кембриджская школа» устоялось настолько, что обозначает хорошо известную методологическую программу; ссылка на него порой позволяет избежать длительных терминологических объяснений. Огромная литература, включающая несколько десятков статей и монографий, рассматривает Кембриджскую школу как объект анализа и фактически

[5] См. републикацию этой статьи в настоящем издании.

[6] О методологии Покока и Скиннера в контексте «истории идей» см.: [King 1983; Bevir 2004; Grafton 2006].

легитимирует полноправное использование термина, несмотря на возражения или осторожный скепсис самих «подозреваемых» – представителей школы (см., например: [Pocock 2013]; в собственных методологических текстах Покок предпочитает термин «историк дискурсов»). Общий философский «бэкграунд», действительная принадлежность к Кембриджу в период становления и – пожалуй, самое важное – общность методологии и несколько десятилетий внутренней полемики и взаимного признания говорят о наличии общего подхода и в этом смысле о существовании академической школы. Разделяемая участниками установка на подчеркнутую методологическую щепетильность в отношении ярлыков и универсальных категорий остается последним и (лишь отчасти) ироническим аргументом в пользу общности подходов в группе ярких британских индивидуалистов, избегающих гипостазирования идей.

Сложнее и запутаннее дело обстоит с понятием «интеллектуальная история», которое часто связывается с деятельностью Кембриджской школы. В статье, посвященной трактовкам этого концепта в гуманитарных науках, французский историк Роже Шартье отмечает, что континентальная традиция в XX веке почти не знала подобного дисциплинарного именования [Шартье 2004]. Более того, сам термин «интеллектуальная история» кажется чрезвычайно размытым, что приводит к частым злоупотреблениям в его использовании, – грубо говоря, «интеллектуальной историей» при желании можно назвать любую область знаний, связанную с изучением текстов прошлого. При этом если мы посмотрим на то, кто в западных гуманитарных науках называет себя «интеллектуальными историками», то в первую очередь столкнемся с именами постмодернистов Хейдена Уайта или Доминика Лакапры [White 1969; LaCapra 1983; Toews 1987; Pagden 1988; Jacoby 1992; LaCapra 1992]. Те же, кого принято именовать «интеллектуальными историками», представляющими Кембриджскую школу, с такой квалификацией прямо не согласны или относятся к ней с явной настороженностью.

В 2013 году группа датских историков, издающих серию «5 Questions», выпустили специальный номер, посвященный «intellectual history»[7] и состоящий из ответов, данных ведущими представителями этой научной области (в том числе Скиннером, Пококом, Карло Гинзбургом, Шартье и др.) на пять вопросов о предмете. В предваряющей выпуск заметке авторы сформулировали такое определение «интеллектуальной истории»: «Мы понимаем интеллектуальную историю в самом широком смысле. Она включает в себя историю идей, историю понятий, генеалогию, историю чтения, Кембриджскую школу, культурную историю и другие традиции, анализирующие структуры идей в их историческом контексте» [Jeppesen, Stjernfelt, Thorup 2013: IV]. Из этой дефиниции, в частности, следует, что «интеллектуальную историю» можно идентифицировать не через предмет исследования, а через методологический прием. В силу этого обстоятельства термин «интеллектуальная история» оказывается полезным, когда речь идет о разных по содержанию и научным задачам теориях, скрепленных тем не менее единой исследовательской программой[8]. Подходы в интеллектуальной истории могут отличаться друг от друга в диапазоне от социолого-статистических методик в истории чтения до языкового анализа в истории политических идиом[9] или истории понятий, однако все они объединены общим фокусом – признанием детерминирующей роли методического изучения исторического контекста или контекстов при анализе текстов прошлого. Символично в этом смысле, что свою статью, посвященную юбилею выхода в свет «Оснований современной политической мысли» Скиннера и повествующую об истории кембриджского метода, Покок начинает с девиза: «Context is king» [Pocock 2006: 37].

---

[7] Разумеется, это не первая попытка систематизации такого рода: схожий опрос в 1985 году проводил, например, журнал «History Today».

[8] Одно из наиболее внятных описаний научных направлений, объединенных названием «intellectual history», см. в: [Brett 2002].

[9] О понятии «идиома» в интеллектуальной истории в целом и в Кембриджской школе в частности см. ниже, в примеч. 1 на с. 19.

Одним из самых ярких представителей Кембриджской школы, чье имя неизбежно связывается с контекстуальной методологической парадигмой, является Квентин Скиннер. Его можно счесть классиком мировой историографии еще и потому, что он удостоился отдельной биографии, написанной финским политическим философом Кари Палоненом [Palonen 2003]. Работы Скиннера и второго «кембриджского» классика, Джона Покока, анализировались в специально созданных в их честь сборниках статей – «Meaning in Context» [Tully 1988], «The Political Imagination in History» [DeLuna, Anderson, Burgess 2006] и «Rethinking the Foundations of Modern Political Thought» [Brett, Tully, Hamilton-Bleakley 2006]. В октябре 2009 года в Центре аспирантуры Городского университета Нью-Йорка прошла специальная конференция, посвященная сорокалетию выхода в свет программной статьи Скиннера «Значение и понимание в истории идей», материалы которой были опубликованы в престижном «Journal of the History of Ideas» (2012. Vol. 73. № 1).

Помимо индивидуальных научных трудов, Скиннер, Покок и их коллеги инициировали выход в свет большого числа тематических коллективных сборников, которые дополнительно свидетельствуют об общности подходов (и полемике) внутри Кембриджской школы. Среди наиболее важных книг такого рода, значительная часть которых была опубликована в издательстве Кембриджского университета, упомянем следующие: «Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776» [Pocock 1980], «Philosophy in History: Essays on the Historiography of Philosophy» [Rorty, Schneewind, Skinner 1984], «The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe» [Pagden 1985], «The Return of Grand Theory in the Human Sciences» [Skinner 1985], «Machiavelli and Republicanism» [Bock, Skinner, Viroli 1990], «Political Discourse in Early Modern Britain» [Phillipson, Skinner 1993], «The Varieties of British Political Thought, 1500–1800» [Pocock, Schochet, Schwoerer 1993], «Milton and Republicanism» [Armitage, Himy, Skinner 1995], двухтомный «Republicanism: A Shared European Heritage» [Van Gelderen, Skinner 2002], «States and Citizens: History, Theory, Prospects» [Skinner, Stråth 2003], «British Political Thought in History, Literature and Theory, 1500–1800» [Armitage 2006], «Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept» [Kalmo, Skinner 2010], «Families and States in Western Europe» [Skinner 2011]. Кроме того, Скиннер в качестве соиздателя участвовал в таких фундаментальных издательских проектах, как, например, «The Cambridge History of Renaissance Philosophy» [Schmitt et al. 1988].

Квентин Скиннер и Джон Покок в интенсивном и продуктивном диалоге и полемике сформировали общий методологический подход и своеобразный канон изучения политической философии как серии связанных друг с другом полемик в раннее Новое время в Италии, Англии, Голландии и США. Они являются двумя безусловными лидерами «школы». Питер Ласлетт был значительно старше Скиннера и Покока и в конечном счете оставил интеллектуальную историю в пользу социальной. Джон Данн, разделявший исходные интересы коллег, также впоследствии перешел от историографии к жанру чистой политической философии. Ко второму поколению Кембриджской школы мы можем отнести Иена Хемпшер-Монка, Мартина ван Гелдерена, Джеймса Талли, Ричарда Така, Дэвида Армитеджа, Кари Палонена, Мелвина Рихтера, Энтони Пагдена, Сьюзан Джеймс, Маурицио Вироли, Джонатана Кларка, Филипа Петтита (в том, что касается политической философии) и др. В близком методологическом ключе работают исследователи так называемой Сассекской школы (С. Коллини, Д. Уинч), которые, в отличие от Скиннера, Покока и их последователей, занимаются историей британской политической мысли XIX столетия.

Квентин Скиннер и Джон Покок

Квентин Роберт Дути Скиннер родился в 1940 году в графстве Йоркшир в Англии. Он почти на поколение младше Джона Покока (р. 1924), многолетнее сотрудничество и полемика с которым исходно и дали основание говорить об особой Кембриджской «школе». Скиннер – наиболее влиятельный и цитируемый представитель этого академического направления, которое заняло одно из господствующих мест в англоязычном научном мире к концу XX века. Он известен как автор фундаментальных работ по истории политической философии раннего Нового времени, показавший принципиальную важность «республиканских» аргументов и языка для политических дискуссий в Италии и Англии. Он также знаменит и как радикальный и тонкий критик «лавджоевской» методологии истории политических идей и истории политической философии. Ученому удалось историзировать изучение классических текстов западноевропейских философов и одновременно добавить полноценный философский радикализм в осмысление методологии историков политических идей. Наконец, в последнее время (в частности, совместно с Филипом Петтитом) он активно выступает как современный политический философ, предлагая неореспубликанское прочтение ряда ключевых вопросов актуальной политической жизни Великобритании, Европейского союза и США (об этом см.: [Palonen 2003: 173–180]). Таким образом, мы можем выделить три значимых научных амплуа Скиннера, которые, дополняя друг друга, остаются тем не менее автономными: историк политической мысли, политический философ и теоретик в области интеллектуальной истории.

Академическая карьера Скиннера была стремительной и успешной – он дебютировал в печати в 25 лет, а в 29 лет написал знаменитый методологический манифест «Значение и понимание в истории идей» [Skinner 1969][10]. Блестящий выпускник Гонвил- и Каиус-колледж в Кембридже, он сразу после сдачи выпускных экзаменов получает два приглашения преподавать и выбирает Крайст-колледж, где с 1965-го по 2008 год занимает должности профессора истории Нового времени, затем профессора политических наук (1979–1996) и королевского профессора истории (с 1996 года). Одним из наиболее весомых признаний успешности совершенной интеллектуальной революции становятся принятие Скиннера в Британскую академию в 1981 году и его последующее вступление в ряды академиков Американской академии наук и искусств, Европейской академии и других уважаемых институтов. В 2008-м он принимает приглашение Лондонского университета королевы Марии, где по настоящее время занимает позиции профессора гуманитарных наук и соруководителя Центра изучения политической мысли. Кроме того, Скиннер (в качестве приглашенного профессора) часто выступает в ведущих университетах Австралии, США, Франции, Бельгии, Голландии, Китая, России и других стран мира.

Вопреки традиционному для Великобритании разделению областей исследования, Скиннер изучает историю политической философии и одновременно фактически выступает в роли философа языка. Впервые он заявил о себе не столько как историк, сколько как теоретик, в знаковой работе 1969 года «Значение и понимание в истории идей», где подверг жесткой критике существовавшую в британской интеллектуальной истории научную («лавджоевскую») парадигму и предложил новый «контекстуальный» метод изучения политических текстов прошлого[11]. В первой половине 1970-х годов он публикует целую серию методологических работ, позднее собранных вместе в первом томе «Visions of Politics» [Skinner 2002, 1]. Как историк Скиннер утвердил свою репутацию первоклассного профессионала и знатока политических текстов Нового времени в 1978 году, когда в свет вышло его двухтомное исследование «Осно-

[10] См. републикацию этой статьи в настоящем издании.

[11] Библиографию работ Скиннера (до 2003 года) см. в: [Palonen 2003: 181–190].

вания современной политической мысли» [Skinner 1978]. Первый том «Оснований» посвящен истории политической мысли Ренессанса, второй – политическим аспектам протестантской теологии и полемикам лютеран и кальвинистов с католическими философами XVI века вокруг вопроса о светских функциях папской власти и власти как таковой. Возможно, наиболее оригинальным и влиятельным стал тезис Скиннера о возникновении современных представлений о государстве как способе преодолеть негативные последствия религиозных войн в Европе раннего Нового времени.

По подсчетам К. Палонена, в период с 1978-го по 1982 год было опубликовано не меньше 35 развернутых рецензий на «Основания» [Palonen 2003: 91]. Биограф Скиннера отмечает:

> Спустя почти двадцать пять лет в печати так и не появилось ничего, что можно было бы сопоставить с «Основаниями» Скиннера, как внутри интересующего его исторического периода, так и по любому другому периоду европейской политической мысли. Конечно, трудно представить себе, чтобы кто-то мог сделать подобное тому, что Скиннер сделал в «Основаниях» [Palonen 2003: 93].

Главной заслугой Скиннера Палонен считает анализ политической теории внутри исторического контекста конкретной политической борьбы – между итальянскими городами-государствами эпохи Возрождения, между папой и императором, католиками и протестантами, сторонниками и критиками монархического правления. Он пишет:

> Перемена в отношениях между политической мыслью и «политической жизнью», обоснованная Скиннером в «Основаниях», задает образец изучения политической мысли и свидетельствует о приоритете политики над мыслью. <…> Работа задает парадигму – образцовую модель в витгенштейновском смысле, согласно которой мы можем использовать способ изучения мысли, горизонт возможного, как необходимую перспективу в изучении политики-как-деятельности в целом [Palonen 2003: 94].

В дальнейшем Скиннер продолжил изучать историю политической мысли Ренессанса, а также активно занялся английским XVII веком – в частности, анализом политической философии Т. Гоббса. При этом в центре исследований историка неизменно оставался вопрос о смыслах и истории понятия «свобода» в Новое время. Так, в 1981 году Скиннер выпустил небольшую, но концептуальную биографию Никколо Макиавелли [Skinner 1981], в 1996-м – монографию «Разум и риторика в философии Гоббса» [Skinner 1996], в 1998-м – работу «Свобода прежде либерализма» [Skinner 1998][12], в 2008-м – книгу «Гоббс и республиканская свобода» [Skinner 2008], в 2014-м – труд «Судебный Шекспир» [Skinner 2014], в котором исследовал пьесы Шекспира в контексте риторики британского судебного красноречия. Интерес Скиннера к методологии социальных и гуманитарных наук нашел выражение в составленной им коллективной монографии «Возвращение большой теории», вышедшей в 1985 году [Skinner 1985]. Книга содержит очерки о великих теоретиках второй половины XX века – Гадамере, Деррида, Фуко, Куне, Ролзе, Хабермасе (за авторством Э. Гидденса), Альтюссере, Леви-Строссе и историках школы «Анналов», – которым было предпослано концептуальное предисловие самого Скиннера. Наконец, в 2003 году ученый собрал свои отдельные работы по истории республиканской мысли в обширное трехтомное издание «Ви́дения политики» [Skinner 2002]. Первый том включает в себя теоретические статьи, второй посвящен истории полити-

[12] О терминологической тонкости, заключенной в названии книги Скиннера (переведенной на русский язык А. Магуном как «Свобода до либерализма» [Скиннер 2006]), см. интервью А. Л. Зорина для проекта «Инлиберти» (www.inliberty.ru/article/liberty-zorin (дата обращения: 14.08.2018)).

ческой мысли итальянского Ренессанса (в том числе анализу фресок А. Лоренцетти в Сиене[13]), третий связан с интерпретацией английской политической теории XVII столетия, прежде всего трудов Гоббса. Наконец, уже в 2018 году Скиннер напечатал новую монографию – «От гуманизма к Гоббсу: Исследования по риторике и политике» [Skinner 2018].

Как указывает Покок в обзорной работе о вкладе Скиннера в науку о политической теории, «делом его жизни» была полемика с историей политической философии, ориентированной на использование великих текстов прошлого как предлога для самовыражения и обсуждения современных вопросов. Скиннер отстаивал точку зрения, согласно которой философ-историк считает принципиально важным методически исследовать тексты и голоса прошлого в их собственной логике. Одновременно мы можем обнаружить в работах Скиннера (в частности, в текстах, созданных в сотрудничестве с Петтитом) идеологически значимую политико-философскую повестку, причем речь не идет о простом воспроизводстве прежней схемы истории идей. Историк-философ в лице Скиннера не просто проецирует на прошлое собственные политические предпочтения и представления о настоящем, а воссоздает смыслы через методологически ответственное открытие ушедших языков и риторических жестов в дискуссиях прошлого.

История политических языков не мыслится Скиннером как логичное (или телеологичное) развитие определенных линий политической мысли, завершившееся созданием современного политического канона. Скорее речь идет о наборе отдельных контекстов и ситуаций, в которых движение не осуществлялось по заранее заданной траектории, а происходило под влиянием сознательно воздействующих друг на друга акторов. Способность историков реконструировать оригинальные намерения и риторические ходы мыслителей прошлого в контекстах, отличных от нашего, создает дистанцию с современным политическим языком. Одновременно это расширяет репертуар *возможных* политических высказываний и ходов в современной политике – высказывания, сделанные в прошлом, могут получить новое политическое значение в современной полемике. Однако историк здесь не действует от первого лица как идеолог или философ – он предоставляет «старые» и уже непонятные нам ходы как «новые» для современного понимания именно благодаря работе с контекстом. Традиционное прочтение классических текстов часто не замечает эти оригинальные речевые акты, проецируя настоящее в прошлое. Кембриджский подход лишает актуальную политико-философскую повестку ее телеологичности (здесь особенно очевиден антидетерминистский и антимарксистский пафос Скиннера[14]) и дает новые средства для полемики. Как результат, глубокое взаимообогащение философии языка, политической философии и истории делает академическую и интеллектуальную траекторию Скиннера одновременно влиятельной и уникальной.

Джон Гревилл Агард Покок родился в 1924 году. Он на год младше Козеллека, на шесть лет старше Пьера Бурдьё, на пять – Юргена Хабермаса, на два – Мишеля Фуко, на год – Зигмунта Баумана и на шестнадцать лет – Квентина Скиннера. Покок – по заслугам и возрасту – является одним из ведущих современных теоретиков в области исследований политической философии Нового времени, чей авторитет сопоставим с репутацией Козеллека, Фуко и Хабермаса. Наиболее оригинальный методологический вклад Покока в развитие его дисциплины – это интерпретация истории политической философии как истории «политических языков», «идиом»[15] или «дискурсов». Междисциплинарная направленность методологи-

[13] См. русский перевод одной из его статей о Лоренцетти: [Скиннер 2017].

[14] О политических взглядах Скиннера см., например: [Skinner 2012].

[15] Следуя за Пококом, под «идиомой» мы будем понимать сложившиеся устойчивые языковые образования – социопрофессиональные или литературные языки, релевантные для политической риторики. В лингвистике различают понятие «идиом» (мужской род), используемое для обозначения языковых образований в указанном смысле, и более частотный термин «идиома», относящийся к фразеологии и означающий устойчивый речевой оборот («абсолютная семантическая спаянность»). В английском, французском и немецком языках эти два понятия омонимичны. При этом для нас существенными представ-

ческого подхода Покока очевидна: в нем сочетаются элементы таких наук, как политическая философия, история права, теология, политическая история, историография, теория языка и филология. Ученому удалось реализовать чрезвычайно плодотворную исследовательскую программу, направленную на изучение эволюции и взаимопроникновения различных устойчивых социопрофессиональных идиом в политической культуре Запада XV–XVIII веков.

Биография Покока являет пример продуктивного научного трансфера: его академическая карьера развивалась в трех частях света, в трех странах – Новой Зеландии, Англии и США. Покок родился в Лондоне, однако в возрасте трех лет переехал с родителями в Новую Зеландию, где и получил среднее образование. Затем вернулся в Англию и в 1952 году защитил диссертацию в Кембриджском университете, ставшую одним из первых исследований в методологическом духе будущей Кембриджской школы, вслед за чем вновь перебрался в Новую Зеландию и начал там преподавательскую карьеру. В 1966-м Покок оказался в США, где сначала работал в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, а с 1975 года – в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе[16].

Научные интересы Покока в значительной степени коррелируют с маршрутом его перемещений по университетскому миру: ему принадлежат основополагающие работы в области British studies, фундаментальные исследования по истории английского и американского республиканизма и ряд интересных работ по истории политических языков в Новой Зеландии. Область знаний, оставшаяся за пределами его профессиональных миграций, – это Renaissance studies и занятия итальянской политической теорией XV–XVI веков. Истории английской политической мысли посвящены классические монографии Покока: «The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century» [Pocock 1957], где показывается ведущая роль языка обычного права в формировании политической мысли и историографии Великобритании; «Virtue, Commerce and History: Essays on Political Thought and History, Chiefly in the Eighteenth Century» [Pocock 1985][17], объединяющая ряд замечательных исследований по истории осмысления коммерческих отношений в терминах республиканской традиции.

В фундаментальной монографии «The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition» [Pocock 1975] Покок исследовал целую цепочку культурных трансферов, обладающую многогранным историческим значением [Hankins 2000]. В этой цепочке соединяются и актуализация античной политической философии в итальянском Возрождении, и рецепция идей флорентийских мыслителей в Англии XVII века, и рефлексия над республиканскими институтами власти в Америке второй половины XVIII столетия. Кроме того, Покок подготовил и прокомментировал издания классиков британской политической философии – Джеймса Харрингтона (1977, 1992), который благодаря его усилиям получил новое место в истории английской политической мысли, и Эдмунда Бёрка (1987), положившего языковую традицию общего права в основу оригинальной политической философии. В 1965 году Покок издал под своей редакцией сборник статей «The Maori and New Zealand

---

ляются более мягкие идиоматические сочетания и динамика их формирования. Например, словосочетание «особый путь» имеет признаки устойчивой идиомы. Словосочетание «выбор исторического пути» предполагает еще более мягкую идиоматическую связь, что подтверждается набором взаимозаменяемых идиом – «выбор пути», «исторический выбор» и даже просто «выбор», – каждая из которых несет на себе дополнительную семантическую нагрузку родственных идиом, в особенности для читателя, знакомого с этим языком и характерным для него репертуаром. По всей видимости, речь идет об общем языковом феномене становления узнаваемого для определенного сообщества лексического набора. Ориентируясь на более распространенный термин и омонимию в европейских языках, при переводе пококовского понятия «idiom» мы используем термин «идиома» (женский род) в расширительном смысле, включающем три значения: идиома как язык, идиома как устойчивый идиоматический оборот и, наконец, идиома как ключевое слово, семантически связанное с определенным набором других идиом.

[16] О кембриджском методе и биографии Покока см.: [Hampsher-Monk 1984; 1998].

[17] См. републикацию вступительной статьи к этой книге в настоящем издании.

Politics» [Pocock 1965], посвященный разысканиям в области политических языков и практик Новой Зеландии.

Подобно Скиннеру, Покок является не только практикующим историком, но и активным теоретиком исторических и политико-философских исследований, стимулировавшим целое направление в академической литературе. Так, в 1971 году он выпустил сборник собственных статей по методологии исторической науки «Politics, Language and Time: Essays in Political Thought and History» [Pocock 1971], направленных в первую очередь на интерпретацию историографии и философии истории. Относительно недавно он собрал свои публикации по теории 1960–2000-х годов в томе под названием «Political Thought and History: Essays on Theory and Method» [Pocock 2009]. Наконец, с конца 1990-х Покок реализует масштабный научный проект по истории английского и, шире, европейского Просвещения. В серии из шести монографий под общим названием «Barbarism and Religion» [Pocock 1999–2015] он реконструирует разнообразные культурные контексты, связанные с историей создания и публикации «Истории упадка и падения Римской империи» Эдварда Гиббона.

Политическая философия понимается Пококом не как набор абстрактных, вневременных суждений о политике, а как жанр самостоятельного политического действия, нацеленного на формирование риторической нормы и языка сообщества – посредством публичной речи. Основу заданных такой языковой борьбой властных отношений составляет не «биополитика», классовая структура, всепроникающий анонимный дискурс или экономические отношения. Ею становится свободная полемика или обмен аргументами между компетентными, исторически конкретными авторами, стремящимися обрести социальное и политическое признание, использующими сложившиеся практические и нормативные языки для легитимации своих намерений и, намеренно или случайно, эти языки трансформирующими – в ходе полемики.

В диалоге со Скиннером Покок-историк обосновал фундаментальное значение республиканской традиции – и через нее классической античной риторики – для английской и американской политической философии. В англо-американской политической философии языки республиканизма использовались для осмысления, легитимации и ограничения исторически новых коммерческих отношений, включая кредит, бумажные деньги, налоги, постоянную армию и частную собственность. Кроме того, современная интерпретация идей классиков политической философии Нового времени, таких, как Макиавелли, Харрингтон, Гоббс, Локк, Гиббон и Бёрк, во многом основана на работах Покока и его оригинальной методологии исследования политических языков и традиций. Классические тексты и политическая философия отцов-основателей США также получили у Покока принципиально новое истолкование в свете критического воздействия на них долгой «республиканской традиции» Нового времени.

«The Machiavellian Moment» и ряд других монографий Покока посвящены анализу языковых форм исторического самосознания политических обществ Нового времени. Политическая философия теоретиков республиканизма первого и второго плана определяется как ответ на вопрос о возможности выживания политического сообщества перед лицом неизбежной коррупции гражданской добродетели и доблести. Аристотелевский круговорот форм власти, ставший благодаря римским авторам самоочевидным горизонтом политического действия, указывал на структурную уязвимость и хрупкость порядка, основанного на гражданской доблести и добродетели причастных к власти людей. Образцом такого порядка была республика. Образованные граждане торговых итальянских республик, активно читавшие античных авторов, остро осознавали метафизическую неустойчивость своего независимого существования. Этот встроенный исторический пессимизм, подкрепленный монументальным прецедентом падения Римских республики и империи, оставался, согласно Пококу, одним из основных фокусов политической философии Нового времени и задавал языковую рамку для восприятия новых коммерческих отношений как проявлений неизбежной этической деградации вплоть до «Федералиста» отцов-основателей США. В ответ на этот вызов формируется набор языков,

позволявших обеспечить историческое существование республики или монархии: непрерывная и бережная передача традиции во времени, возврат к институтам утерянного Золотого века, убеждение в поступательном прогрессе институтов и, наконец, утопическая вера в возможность неограниченного конструирования новых общественных единиц.

Методология Кембриджской школы и два поворота в гуманитарных науках XX века

С именами Покока и Скиннера связаны радикальные изменения в методологии англоязычной истории политической философии, произошедшие в 1960-е годы. Любопытной чертой предпринятого ими пересмотра ключевых понятий и подходов в интеллектуальной истории стало совпадение двух «поворотов» – исторического и лингвистического. Само по себе это сочетание совершенно не является очевидным. Например, постмодернистская версия intellectual history претерпела в 1970-е годы почти обратную трансформацию – в работах Хейдена Уайта и его последователей обращение к риторической природе историографических и, шире, научных текстов означало разрыв с логикой и законами исторического исследования, отрицание значимости исторических интерпретаций и релевантности попыток реконструировать «прошлое». Напротив, Кембриджская школа истории политической философии, подобно антропологии Клиффорда Гирца, чья версия анализа идеологий через интерпретацию политических метафор чрезвычайно востребована историками[18], соединила внимание к риторике и исторический метод. Это имело два важных следствия. Прежде всего, одним из центральных понятий кембриджского подхода стал термин «контекст»: и Скиннер [Skinner 1969], и Покок [Pocock 1962], и Данн [Dunn 1968] едины в том, что первая задача историка философии – реконструировать исторически локальный смысл речевого действия. Под «контекстом» они понимают в первую очередь полемическую языковую ситуацию. Речь идет не о естественных языках, но о языках политических, о совокупности идиоматических матриц и конвенций, принятых в политической философии и составляющих фон, по отношению к которому проявляет себя автор. Именно поэтому Скиннер и Покок обратили внимание на необходимость поместить «классические тексты» политологической традиции в максимально широкий контекст сочинений второстепенных авторов, поскольку смысл речевого акта тех философов, которых мы считаем значительными, становится понятен только при сравнении их риторической стратегии с «правилами политической игры», господствовавшими в их время.

Таким образом, формулируя свои тезисы, автор совершает два действия: с одной стороны, излагает политический аргумент в конкретной исторической ситуации, а с другой – занимает определенную позицию в отношении языков и аргументов других авторов – полемизирует с ними, подтверждает их основательность, высмеивает, критикует или попросту не замечает. Макиавелли, давая советы государям, выстраивал собственную логику в зависимости от того, какие рекомендации содержали типовые учебники по монаршему поведению, и именно на фоне жанровой традиции становится понятно, «what he was doing by writing a text», согласно оригинальной формулировке Скиннера.

Эвристическая ценность кембриджского подхода состоит в том, что рефлексия над взаимоотношениями между текстом и контекстом через языковую призму *избавляет* исследователя от ответа на вопрос, например, о связи психологии или внутренних убеждений (beliefs) автора и его произведений или от внешних каузальных «марксистских» объяснений природы человеческих поступков и интересов. Методологическое ограничение социальной перспективы принципиально прежде всего для Скиннера, который заявляет о сомнениях в самой возможности связать социальный и языковой контексты, ограничивая рамки исследования исключительно риторическими особенностями политических трактатов и лингвистической составляющей политических действий[19]. Вместе с тем, по-видимому, многое при применении

[18] Так, в интервью журналу «Art of Theory» Скиннер указывает на близость антропологии Гирца и кембриджской истории понятий (цит. по: www.academia.edu/1073948/Quentin_Skinner_on_Meaning_and_Method (дата обращения: 23.05.2018)).

[19] Говоря об авторских интенциях, Скиннер и Покок интерпретируют их исключительно в смысле языкового выражения:

риторического подхода опускается, точнее, подразумевается как данность – например, сложные связи между социальными ролями, присущими авторам, и социальными статусами текстов[20]. Оговоримся, что Покок признает значимость социального контекста, а Скиннер фактически исследует его как часть «контекста» воспринимаемой автором практической ситуации (сцены), но не в функции закулисного кукловода, управляющего речью актеров [Pocock 1985; Skinner 1988b; 1988c].

Интересно вновь отметить одновременно взаимодополняющий и взаимно полемический характер методологических работ двух ведущих исследователей Кембриджской школы. Для Скиннера характерно стремление к максимально четкому философскому осмыслению методологического подхода и своеобразный ригоризм используемых понятий. Так, он артикулировал общий кембриджский подход в терминах теории перформативных речевых актов Джона Остина и настойчиво использовал несколько понятий и чеканных формул – «интенция» («intention»), «значение и контекст» («meaning and context»), «ход» («move»). Наконец, именно Скиннер сформулировал знаменитый вопрос: «Что делал автор, когда писал свой текст?» («What was doing the author by writing his text?»). Словарь Покока в этом отношении более разнообразен и *преднамеренно* менее точен. Он включает в себя понятия и метафоры – языка, идиомы, наречия («sub-language»), языка второго уровня («second-order language»), парадигмы, langue и parole, языковой игры, матрицы, ткани («texture»), языковой инновации. Описанная концептуальная множественность соответствует имплицитной метафизике Покока. Он подчеркивает проблематичность восприятия текста как чрезмерно жесткой языковой системы и отмечает, что внутри одного и того же произведения, как правило, взаимодействуют сразу несколько языков, что является не недостатком системности, а скорее риторическим и познавательным преимуществом.

Как следует из сказанного выше, важным следствием историко-лингвистического «поворота» Кембриджской школы стал ее собственный научный язык. Российскому читателю он может показаться непривычным – из-за его отчетливой ориентации на традицию англосаксонской аналитической философии середины XX века. Обсуждаемый метод в истории политической философии сложился в Кембридже в 1950–1960-е годы, т. е. в период тотальной гегемонии философских подходов, связанных с именем Витгенштейна и его учеников. Именно Витгенштейну и его языковой теории («words are deeds») Скиннер и Покок обязаны термином «контекст» – как совокупность значений, возникающих при конкретном использовании того или иного понятия. Другими важнейшими для кембриджской традиции философами были Джон Остин и Джон Сёрль. Теория речевых актов дала возможность Скиннеру апеллировать к «иллокутивной силе» высказывания, демонстрирующей спектр значений, заложенных в тексте, но выходящих за пределы языкового сообщения, и сообщающей о сознательном выстраивании отношений между текстом и другими элементами письменной традиции. В этом смысле можно говорить, что подразумеваемый социальный контекст политической философии создает и оберегает определенное поле, в котором речевые акты становятся прямым социальным действием[21].

Кембриджские историки применили методы аналитической философии к политическим текстам прошлого, придя, в частности, к идее принципиальной множественности контекстов:

те действия, которые совершает актор в процессе письма, касаются в первую очередь его отношений с самим политическим языком и с другими акторами. При этом, создавая тексты, авторы не только стремились к выстраиванию линии преемственности или разрыва с языковой традицией, но и старались занять определенное место в социальной и культурной иерархии. Действие, совершаемое в языке, никогда не ограничивается исключительно воздействием на язык, но имеет и экстраязыковые коннотации. Скажем, Макиавелли, давая рекомендации Лоренцо деи Медичи, не только совершал переворот в политическом языке, но и мог преследовать прагматическую цель – найти себе нового патрона и вернуться, таким образом, во флорентийскую политику.

[20] См. об этом подробнее в: [Bourdieu 2001].

[21] Подробнее см. методологические работы Скиннера в первом томе «Ви́дений политики»: [Skinner 2002, 1].

они несводимы к какой-либо типовой универсальной («метафизической») логике высказывания о важном с политической точки зрения предмете, поскольку с помощью одной и той же аргументации в разные эпохи можно совершать разные по сути, т. е. разные с точки зрения конкретных интенций говорящего, речевые действия. Терминология Кембриджской школы живо напоминает лингвистическую, однако при более детальном рассмотрении выясняется, что это сопоставление скорее обманчиво – в том смысле, что значения терминов, вводимых Скиннером и Пококом, не всегда находят четкое соответствие тому, как их принято использовать в современной лингвистике. Правильнее будет говорить о влиянии посредника или общего родственника – англосаксонской философии языка середины XX века.

Историко-языковой «поворот» в политической философии был связан и с кардинальными изменениями в структуре гуманитарных наук в целом, происходившими в 1960-е годы. Сами представители Кембриджской школы указывают на важность для их традиции работ британского историка Робина Джорджа Коллингвуда, в частности писавшего об идейной подоплеке человеческих действий [Pocock 1971 / 2009: 27; Скиннер 2004][22]. Другим важнейшим концептуальным ориентиром для них послужили новые подходы в истории науки, прежде всего связанные со «Структурой научных революций» Томаса Куна (1962) и понятием «парадигма», активно используемым в ранних историко-теоретических работах Скиннера и Покока. Кроме того, несомненно методологическое взаимодействие между кембриджской историей политической философии и «варбургианской» историей искусства. Выводы Эрнста Гомбриха о соотношении между языком искусства и реальностью в монографии «Art and Illusion» (о том, что для изображения объекта для художника релевантно не прямое созерцание предмета в «реальности», но владение техниками его иконографической концептуализации, распространенными в современную художнику историческую эпоху, и работа с этим контекстом [Gombrich 1960: 52–73]) отчетливо перекликаются с методологической программой Скиннера и особенно Покока, писавших о бытовании политических языков, которые задают рамки возможных высказываний о политике. Характерным в этой перспективе кажется и словоупотребление Гомбриха, много говорившего о «языках живописи» [Gombrich 1960: 72–73]. Кроме того, изучение политических языков на стыке между авторской интенцией и читательским восприятием сближало Кембриджскую школу с немецкой рецептивной эстетикой Ханса Роберта Яусса и Вольфганга Изера, интерпретировавших «горизонт читательского ожидания», формировавшегося автором за счет чисто языковых средств [Thompson 1993].

Вместе с тем именно этот предельно контекстуальный и коммуникативный подход воспрепятствовал методологическому соединению кембриджской истории политической философии с ближайшим к ней континентальным аналогом – Begriffsgeschichte Райнхарта Козеллека, несмотря на все усилия сторонников такого сближения, прежде всего Мелвина Рихтера[23]. Скиннер и в еще большей степени Покок отрицают саму возможность построения «истории одного понятия» вне связи с конкретными случаями его использования разными авторами в различных контекстах [Pocock 1996]. Анализ политического языка, заданного прагматикой локального употребления в сочетании с другими языками и множеством индивидуальных высказываний, всякий раз преследующих специфические цели, трудно сочетается с такой интерпретацией понятия, характерной для немецкой историографии, которая предполагает фокусировку на внутреннем содержании концепта и на его радикальных трансформациях в прямой связи с эпохальным изменением социального контекста[24]. Для Кембриджской школы

[22] Другая важнейшая для Покока фигура – Карл Поппер [Pocock 1971 / 2009: 27].

[23] См. о Кембриджской школе и Begriffsgeschichte, а также библиографию вопроса: [Richter 1995; Van Gelderen 1998 (см. публикацию этих двух статей в настоящем издании); Palonen 1999; Skinner 1999; Palonen 2003: 171; Chignola, Duso 2008: 51–82, 256–282; Дубина 2010; Muscolino 2012: 92–98; Миллер, Сдвижков, Ширле 2012: 23–31] и др.

[24] Если представители Кембриджской школы, следуя Витгенштейну, убеждены в тотальности и перформативности языка («words are deeds»), то социальный историк Козеллек, наоборот, считал, что «никакой речевой акт сам по себе не является

социальность как полемическая коммуникация множества авторов на общих языках представляет полноправный предмет изучения, который несводим к социальному детерминизму и не предполагает метафизической глубины универсальных и в этом смысле внеисторичных «понятий».

Тем не менее и Скиннер, и Покок как историки в своей работе выстраивают большие нарративы о политических языках (Скиннер даже создал историю одного понятия – концепта «государство» [Скиннер 2002])[25]. Кроме того, Скиннер в 1978 году выпустил уже упоминавшийся двухтомник «Основания современной политической мысли», а Покок в «Моменте Макиавелли» исследовал историю трехвековой трансатлантической традиции в республиканской политической теории. Оба они по-разному решают методологическую проблему перехода от набора частных контекстов к более общей истории политических языков. Для Скиннера принципиально важна «случайность» и мозаичность эволюционных сдвигов, приведших к формированию современной политической философии, отсутствие всякой телеологичности в ее историческом развитии. С его точки зрения, современные языковые парадигмы в политической философии сложились как следствие использования понятий в разных политических контекстах, скрепленных между собой исключительно по принципу принадлежности к определенной политической культуре дискурса и конкретных констелляций встреч и разрывов. Покок же концентрирует исследовательское внимание на устойчивых и передающихся от автора к автору политических языках, особо выделяя «second-order languages», т. е. способы представления авторами прошлых эпох их собственного категориального аппарата, и по-новому осмысляя понятие традиции. Концептуализируя политическую теорию на уровне набора взаимодействующих и изменяющихся языков, а не только авторских интенций, Покок реконструирует их относительно длительную историю. Однако в обоих случаях речь идет о скрупулезном выстраивании множества различных контекстов и об изучении постепенной, нелинейно направленной эволюции, что необходимо для создания большого нарратива, точнее, нескольких нарративов, ни один из которых не может претендовать на исключительность.

Существенным также представляется различение трех уровней анализа Кембриджской школы: a) истории политического дискурса, b) методологической рефлексии и c) нормативной политической теории и философии, которой первоначально авторы стремились избегать. В конце XX века Скиннер фактически выступил как теоретик политической свободы в двух взаимосвязанных ролях – историка политической философии и политического философа [Tully 2002]. «Третье понятие свободы», обоснованное им вслед за первыми двумя («позитивным» и «негативным»), сформулированными Исайей Берлином, стало предметом острой «внутрипартийной» дискуссии. Изучая «гражданский гуманизм» итальянского Ренессанса, Скиннер идентифицировал оригинальное понимание политической свободы не просто как фактическую свободу от внешнего вмешательства или как гражданскую обязанность активно участвовать в общем деле, но как наличие гарантий от произвольного вмешательства. Сама потенциальная угроза произвольного вмешательства суверена делает поведение гражданина принципиально несвободным, даже если эта угроза фактически не реализовывается. Это тонкое различение возводится Скиннером к античной оппозиции свободного человека и раба, в которой свободный определяется не как «тот, кто оставлен в покое», но как «тот, кто по праву не может быть подчинен чужой воле». В такой перспективе Гоббс, например, намеренно боролся с республиканским понятием свободы, унаследованным в Англии от итальянского Ренессанса, обосновывая монопольное право суверена на произвольное насилие как единственную действенную гарантию от знаменитой «войны всех против всех» [Skinner 2008]. С

действием, которое он помогает подготавливать, вызывать и осуществлять. <…> История не происходит без высказываний, но никогда не идентична им, и ее нельзя к ним свести» [Козеллек 2006: 38].

[25] См. также «кембриджский» по духу сборник статей, непосредственно посвященный анализу отдельных политических концептов: [Ball, Farr, Hanson 1989].

точки зрения Скиннера, последующая рецепция либерализма (в том числе Исайя Берлин) принимала данное усеченное понятие негативной свободы как основное и самоочевидное.

Английский политический философ Филип Петтит, подобно Скиннеру, использовал исторический анализ для формулировки ряда аргументов и исторического обоснования политической философии, открывающей возможности для современной версии *республиканского либерализма* [Pettit 1997]. Таким образом, общественная роль истории политического дискурса заключается в обнаружении исторически ушедших, но потенциально значимых и продуктивных политических узусов. Открытие и осмысление столь важного понятия Скиннер считает своим персональным вкладом в историю политической философии. Именно этот тезис стал предметом открытой критики со стороны Покока, который не признал историографическую обоснованность выдвинутых аргументов[26].

[26] Подробнее см. статью Покока «Квентин Скиннер: история политики и политика истории» в настоящем издании.

Текст как полемическое высказывание: авторские интенции и языковой контекст

Скиннер и Покок рассматривают политические тексты как структурные элементы больших дебатов о судьбе государств, властителей и институтов. По словам Покока, сама природа политической дискуссии предполагает в отношениях «автор – читатель» как асимметрию, так и симметрию, поскольку, используя общий для них обоих язык, читатель может сам стать автором[27]. С одной стороны, относительная устойчивость и пластичность языка позволяет каждому участнику обсуждения выбирать и заново интерпретировать значения конкретных терминов. С другой – акторы не способны действовать вне сложившегося практического (социального) и риторического узуса, который во многом формирует их взгляд на политические феномены. Благодаря сочетанию свободы интерпретаций и устойчивости используемых общих языковых конструкций автор может *прямо воздействовать* на собеседника или оппонента, который, по словам Покока, «не может не отвечать» вам на сильный ход или инновацию в публичной полемике, если только он не «сталинский бюрократ».

Обсуждение и дебаты становятся элементом власти и институционализации ее отношений, оставляя участникам дискуссии относительную свободу новых толкований традиции и полемических ходов в отношении «значимых Других». Историк дискурса прошлого, в свою очередь, нацелен не на идентификацию «вечных» истин, но на понимание и новое открытие (возрождение) для современников уникальной историчности Другого, его ситуации, его языка и высказывания, которые непосредственно в сегодняшнем контексте не явлены. Внимательное отношение к Другому и ценность незнакомого нам контекста противостоят эгоцентризму рационального (в этом смысле монологического и в пределе тоталитарного) философа или идеолога, который вписывает узор прошлого в единую и абстрактно обоснованную схему [Pocock 1971]. При этом, в отличие от интерпретации Ганса-Георга Гадамера, предполагавшего диалогическое отношение интерпретатора и текста, «герменевтический круг» Покока раскрывается не только внимательным вчитыванием в сам текст, но и систематическим исследованием контекста. Историк изучает более широкий круг источников, позволяющих реконструировать полемическую ситуацию высказывания и набор сложившихся в определенный момент идиоматических узусов, определявших ситуацию, в которой говорил и действовал посредством речи автор. В центре внимания оказывается либеральная практика языковой игры как элемента политической борьбы, не санкционированной прямым авторитетом и насилием. Такой подход созвучен либерализму как принятию мнения и значимости Другого и пониманию множественности проявлений любой Истины. К слову, сам Покок охотно признает фундаментально либеральный характер этого метода, как и объективные социально-политические ограничения для свободной реализации принципов языковой игры авторами политических текстов и их исследователями в исторически конкретных условиях.

Ключевой сферой интересов Скиннера исходно служит авторская интенция: его в большей степени интересуют те констелляции значений, которые возникают в момент создания или публикации текста и определяют риторическое намерение политического философа. Таким образом, история политической философии, по Скиннеру, предполагает известную степень свободы авторской воли. Автор способен с помощью концептов совершать большое количество действий, в частности менять парадигмы описания того или иного политического явления, сообразуясь с собственными намерениями в заданной ситуации[28]. Покок отчасти крити-

[27] См. об этом статью Покока «The State of the Art», публикуемую в настоящем издании.

[28] Наиболее последовательное изложение методологии Скиннера см. в статье Дж. Талли «Перо – могучее оружие: Квентин Скиннер анализирует политику» [Tully 1988: 7–25], перевод которой публикуется в настоящем издании.

кует и отчасти уточняет интенционалистскую линию Скиннера: в публикуемой ниже обзорной статье о состоянии метода в политической философии он ставит вопрос о принципиальной возможности анализировать «намерения» автора вне языковой среды. В каком смысле историк может изучать намерение автора до того акта, которым это намерение выражается в речи, и вне его? Отвечая на данный вопрос, Покок говорит об ограничении возможности авторского самопроявления, поскольку сами интенции в известном смысле уже заложены в языке, – язык предоставляет автору определенный репертуар политических идиом для описания политического опыта. Акцент в методологии смещается на язык или, правильнее сказать, на языки, связывающие автора, сообщение и читателя сетью общих значений. Однако богатство и многообразие доступных авторам языков[29], а также возможность языковых инноваций открывают автору, хорошо владеющему словом, существенную свободу речевого действия.

Соотношение между индивидуальными актами речи (parole), заданными и каждый раз меняющими структуру разделяемого сообществом языка (langue), становится центральной темой методологической рефлексии Покока [Pocock 1987 / 2009]. История дискурсов еще больше усложняется и обогащается за счет того, что исходная ситуация, в которой высказывается и совершает свою работу автор, существенно отличается от непредсказуемой цепочки последующих прочтений и интерпретаций текстов читателями, часто совсем незнакомыми с оригинальным контекстом высказывания. Классические тексты в силу своего авторитета, по определению, оказываются в открытой ситуации многократных реинтерпретаций, историю которых тоже можно продуктивно изучать. В целом базовой задачей историка дискурса становятся анализ и освоение основных идиом или языков, доступных в определенный исторический период максимально широкому кругу авторов. Изучение конкретного автора и текста основывается на таком предварительном знакомстве, которое позволяет указать не только на используемые автором языки, но и на возможные языковые инновации, совершенные им в рамках сложившегося узуса. В этой фазе фокус внимания смещается с репертуара общего *языка* к инновационному потенциалу индивидуальной авторской *речи* (высказывания).

Как мы уже говорили, утверждение Пококом и Скиннером относительной автономии политических дебатов, рассматриваемых как языковая игра, и свободы их участников по отношению к социальным отношениям господства и подчинения имплицитно полемично к постмарксистской редукции социального к экономическим и властным отношениям[30]. *Деконструкция* и *дегуманизация* классических оснований культуры и общества в рецепции идей Фридриха Ницше, Витгенштейна, Фуко, Жака Деррида и Хейдена Уайта, стимулировавших критическое переосмысление методологии и общественной роли социальных и гуманитарных наук, во многом определили развитие этих наук во второй половине XX века. Со своей стороны, Покок и Скиннер критически дистанцируются от наивной нормативности истории идей предшествующего периода и одновременно с помощью новой историографической методологии выстраивают проект, исследующий и отчасти легитимирующий «гуманистическую» либерально-консервативную традицию. Программа Покока и Скиннера, по нашему мнению, служит современной *альтернативой* основным исследовательским стратегиям «методологии подозрения» – деконструкции эпистемологического статуса знаний в общественных науках и дегуманизации как способу эвристического или критического описания общественных явлений. В обоих случаях историки, филологи, социологи и философы *производят* идеологические

[29] Как следствие интенсивности публичных дискуссий в изучаемых политических сообществах Нового времени. Покок в них особо выделяет ключевую роль религиозных, юридических, философских и коммерческих идиом и соответствующих социальных институтов, легитимировавших политические языки.

[30] В этом смысле мы можем сравнить Кембриджскую школу с другой классической программой исследования социальных отношений, исходящей из автономии преднамеренного и внутренне осмысленного действия, которое остается несводимым к экономическим отношениям и насилию, – с понимающей социологией Макса Вебера (см., в частности: [Hollis, Skinner 1978]). О собственной политической позиции Покока см.: [Simmons 2012].

действия своими исследованиями и публикациями. Вопрос не в том, можно ли избежать этого воздействия, а в том, какое *намерение* передают академические высказывания. Нам представляется, что намерение гуманизации в целом лучше намерения дегуманизации, хотя оба подхода могут быть полезны и востребованы в разные исторические периоды.

Кембриджская школа в России

Кембриджская школа и два ее главных представителя уже находятся в поле внимания ведущих отечественных исследователей с разной дисциплинарной аффилиацией, включая Олега Хархордина, Алексея Миллера, Александра Бикбова, Виктора Каплуна, Александра Дмитриева, Артемия Магуна, Ирину Савельеву, Александра Доброхотова, Николая Копосова, Михаила Ямпольского и др. Скиннер представлен в русском академическом контексте несколькими статьями и монографиями, преимущественно посвященными понятию «республиканской свободы», переведенными благодаря усилиям О. В. Хархордина и его коллег по центру «Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге [Скиннер 2002; 2004; 2006; 2009; 2011; 2013; 2015]. Наконец, как мы упоминали, в 2018 году на русском языке вышла его двухтомная монография «Основания современной политической мысли» [Скиннер 2018]. Ряд интересных статей на портале Gefter.ru непосредственно посвящен ключевым понятиям и представителям Кембриджской школы. Имена Скиннера и Покока попадают в вузовские программы курсов по историографии и истории политических идей и уже встречаются не только в кандидатских диссертациях, но даже в анонимных рефератах в интернете. Российская ученая публика познакомилась со Скиннером – теоретиком политической свободы.

В то же время тексты Скиннера – историка политических языков раннего Нового времени, подобно работам Покока, только открываются для образованной читательской аудитории в России. Так, в известной книге «Грамматика порядка», а также в интервью, взятом для журнала «НЛО», социолог и историк Александр Бикбов упрекнул кембриджский подход в излишней «филологичности». «Филологичность» метода, с точки зрения Бикбова, заключена не столько в его чувствительности к языковым парадигмам и идиомам, сколько в акценте на выявлении авторской интенциональности. На этом основании Бикбов делает, как мы убеждены, поспешный и необоснованный вывод об «архаичности» кембриджского метода [Бикбов 2014: 18]. Интенциональность автора рассматривается Скиннером, Пококом и их последователями в принципиально новой перспективе, отличной от традиционной истории идей, где интенция «наивно» вменяется историком мыслителю без методического учета исторического контекста. Важно, что в методе Скиннера и Покока сочетаются, с одной стороны, установка на интерпретацию авторской интенции *внутри* уникальной ситуации высказывания, позволяющей автору сделать определенный полемический ход (Скиннер), а с другой – установка на реконструкцию политического *языка* (идиомы, диалекта) и соответствующей традиции, задающих репертуар возможных смыслов и выражений (Покок). Такое сочетание делает кембриджский подход гибким и адекватным предмету языковой деятельности с точки зрения современного историко-философского аппарата.

Вместе с тем сближение кембриджского подхода с филологией представляется справедливым. Российская наука о культуре имеет свою сильную «контекстуальную» традицию, прежде всего в филологии, – Тартуско-московскую семиотическую школу. Скиннер не читал работы Ю. М. Лотмана, хотя, как показывают его статьи, знал о них и считал их близкими по духу [Skinner 1975: 217]. Семиотическая теория культуры Лотмана, во многом генетически связанная с лингвистическим понятийным аппаратом, в ряде постулатов (например, о постоянной перекодировке сообщений в процессе социокультурной коммуникации) перекликается с теорией политических языков Покока, тоже фиксирующей зазор между авторским ви́дением аргумента, языком и читательским восприятием. При этом Тартуско-московская школа формулирует схожие научные проблемы на совершенно ином концептуальном языке, не ставя перед собой задачу описания long-term-истории языковых средств, используемых в политической сфере. Российская ситуация отчасти напоминает французскую: во Франции историография школы «Анналов» с ее концептом «mentalité», особым интеллектуальным «оснащением»

для познания мира, детерминированным исторически, или понятием «l'imaginaire social» – коллективной репрезентации, затруднила полноценную рецепцию идей Кембриджской школы, которые в контексте работ Марка Блока и Люсьена Февра теряли насущную актуальность и часто воспринимались скорее как банальные [Vincent 2003][31]. Ту же картину мы (с некоторыми оговорками [Chignola, Duso 2008]) можем наблюдать и в Италии, где Арнальдо Момильяно, Франко Вентури и Карло Гинзбург внесли значительный вклад в контекстуальную историю идей и понятий[32]. Эти направления в гуманитарных науках, кроме того, с чрезвычайной подозрительностью (и, вероятно, не без основания) относятся к использованию лингвистических теорий в историографии, усматривая в этом следы антиисторического, по сути, влияния. Нам кажется принципиальным прочертить дистанцию, отделяющую кембриджскую версию интеллектуальной истории от ее постмодернистского аналога: Скиннер и Покок прежде всего являются серьезными историками, концептуализирующими и исследующими (на основе критического и скрупулезного изучения широкого круга источников) разрывы, существующие между восприятием политических аргументов в прошлом и настоящем.

Одной из причин недостаточной известности в России исторических работ представителей Кембриджской школы является меньшая научная актуальность изучаемого ею периода. Основной предмет чисто исторических штудий Покока и Скиннера – Ренессанс и политическая история Англии XVII века (Скиннер и Покок) и XVIII столетия (Покок), которые еще не получили должного внимания со стороны русского научного сообщества. В России эти исторические периоды имели иной смысл и специфику: культурное влияние итальянской и британской политической мысли XVI–XVII веков на становление русского политического сознания в XVIII столетии бесспорно, однако история этой рецепции еще ждет своего исследователя[33]. Важно также помнить и о том, что история «русской общественной мысли» в советские годы во многом была законсервирована в силу несомненной идеологической значимости и осталась почти неразработанной в методологическом отношении. Сегодня эта дисциплина чаще всего напоминает описанную Скиннером в 1969 году «лавджоевскую» историю идей, воспринимаемых вне связи с историческим контекстом, или дисциплину лишь формально историческую, т. е. использующую исторические контексты в качестве фона, а не объяснительной матрицы. Она задает классическим текстам прошлого стандартный набор общефилософских вопросов, скорее релевантных для сегодняшнего дня и стандартизированных для удобства преподавания в вузах. Наконец, мы уже упоминали о трудностях, связанных с рецепцией научного стиля историков Кембриджской школы, в значительной степени следующего за языковой спецификой и аргументацией англоязычной аналитической философии. В России функцию научного языка историко-культурных разысканий выполняет скорее категориальный аппарат семиотики или идиомы, сложившиеся в рамках западных антропологии и социологии.

Задача историков политического языка в России никак не может сводиться к попыткам механически идентифицировать в текстах, написанных на русском языке, ту же повестку, которая волновала английских, французских или немецких интеллектуалов, или найти набор российских ответов на серию западноевропейских вопросов; ключевые вопросы и наиболее влиятельные языки отечественной политической философии и интеллектуальной истории в целом, конечно, могут быть предметом самостоятельного изучения и поиска. Речь идет об истолковании целой серии трансформаций, которые претерпевают европейские понятия при переносе в другой политический контекст, и об анализе оригинальных отечественных политических языков. В этом смысле мы можем попробовать сформулировать основные элементы междисци-

[31] Подробнее об истории исследований политического языка во Франции см.: [Guilhaumou 2010].

[32] О восприятии кембриджской методологии в различных национальных традициях см. материалы сборника статей: [Castiglione, Hampsher-Monk 2001].

[33] См., в частности, статьи Сергея Польского и Константина Бугрова в настоящем издании.

плинарного подхода к исследованию истории политической философии в России, основанного на достижениях Кембриджской школы.

Политические «концепты» и «идеи» не функционируют автономно, наиболее же адекватным историческому методу объектом служат дискуссии в конкретных исторических ситуациях. При этом с точки зрения историка общественных языков роли политического деятеля, полемиста и политического философа сближаются. Идентификация основных идиом российской политической философии становится первой исследовательской задачей, которая требует тщательного предварительного изучения цепочки локальных полемик. Конкретные языки и идиомы историк, согласно Пококу, может идентифицировать с помощью:

– анализа а) частоты использования и б) разнообразия контекстов;

– фиксации языковых и жанровых миграций;

– изучения авторской рефлексии над значимостью, распространением и новизной идиомы.

На следующем этапе исследования, опираясь на более совершенное понимание языкового контекста и доступных идиом, возможно дальнейшее изучение авторских намерений и ходов в текстах и полемиках отечественных политических теоретиков (правда, в существенно более широком и прагматическом понимании этого термина), пишущих и говорящих, как правило, на нескольких политических языках. Кроме того, следует реинтерпретировать те тексты, которые сегодня не представляют явного интереса, но могут оказаться центральными для формирования и эволюции конкретных политических традиций.

Наконец, сохраняя свойственную Кембриджской школе осторожность в высказывании обобщающих суждений о длительных исторических периодах, можно наметить отдельные линии «большой» истории русской политической философии Нового и Новейшего времени. Методологическая проблематичность большого нарратива, убедительно обоснованная Скиннером и Пококом, связана с принципиальной множественностью языков, ситуаций и полемик. Из этой полифонии нет принципиальной возможности однозначно выбрать одну главную «историю» ни с помощью логических, ни с помощью исторических критериев. При этом полноценным основанием для идентификации каждой из идиоматических линий не может служить одна только явная «логическая» общность тем и концепций или даже использование одних и тех же ключевых слов в разные эпохи. Напротив, в данном случае оказывается принципиальной непосредственная цепочка передачи традиции – «автор – читатель – автор» или «учитель – ученик», – прослеживаемая а) через общность сложившихся языков, включающих узнаваемый, связанный и устойчивый набор понятий и аргументов, и б) через удостоверяемые свидетельства коммуникации – т. е. через ссылки, круг чтения, письма, сообщения об устных дискуссиях и другие документы.

Теоретические заключения Скиннера и Покока могут быть развиты и дополнены в свете их связей с теориями социального действия. Значимым для российского контекста и, скорее всего, для многих стран «второго» и «третьего мира» представляется вопрос о социальных условиях и статусе публичной политической речи и публичной полемики[34]. На наш взгляд,

[34] В интервью для 134-го номера «НЛО» О. В. Хархордин указал на внутреннее сходство методологической оптики Покока и Скиннера с ситуацией классического «схоластического спора» блестящих студентов, которые обмениваются репликами и сравнивают качество аргументов [Хархордин 2015]. Это сопоставление кажется нам чрезвычайно важным свидетельством необходимости критической рефлексии над границами применимости кембриджской методологии. В каких институциональных контекстах политические акторы с большей вероятностью «не могут не ответить» на речь и новые аргументы оппонента? В каких условиях ответом на удачную риторику оппонента с большей вероятностью становится насилие? Из сравнения методологии Кембриджской школы с социальной практикой университетской полемики, впрочем, может следовать и то заключение, что традиция «схоластических споров» в лучших университетах Великобритании сделала определенную социальную работу, которую в меньшей мере проделала и проделывает отечественная система образования. Британская политическая и интеллектуальная элита получает общее образование и своеобразную прививку уважения к риторике и качеству аргументации, которая в долгосрочной перспективе может укреплять мягкую опосредующую власть публичной речи и ограничивать другие формы социальной власти.

чрезвычайно продуктивным было бы совмещение двух дисциплинарных логик: рассмотрение политических языков в контексте истории режимов публичности. Публичная сфера, как в свое время определил Юрген Хабермас [Habermas 1962], состоит прежде всего из социокультурных институтов (таких, как пресса, театр, двор, салон, академия, кофейня или масонская ложа), задающих «правила чтения» в зависимости от иерархической системы символических смыслов, принятой в том или ином сообществе[35]. Опыт исследования интеллектуальной истории в России дает основание для менее линейной перспективы, чем логика становления дискурсивных институтов буржуазного общества. Регулярные за последние триста лет и достаточно резкие изменения режимов публичности (от большей публичности, свободы и открытости к меньшей и обратно, включая изменения конкретных правил и конвенций), в рамках которых авторы делают и воспринимают высказывания в жанре политической философии, могут стать самостоятельным предметом исследования. Тексты (в напечатанном или рукописном виде) мигрируют из одной системы в другую не только в синхронной, но и в диахронной перспективе и в каждом из контекстов способны обретать разные значения, становиться разными речевыми жестами. Именно поэтому законы функционирования общественных институций, т. е. тех пространств, в которых происходят обсуждение и легитимация политических аргументов, способны оказывать существенное влияние на поэтику и риторику политико-философских трактатов.

Реконструкция речевого действия без анализа статуса его автора внутри публичной сферы и без анализа конвенций, регулирующих и ограничивающих коммуникацию, рискует быть принципиально неполной, поскольку автор всегда имеет представления о возможном адресате своего политического послания и об ожидаемом *характере* воздействия своей речи на адресата в рамках заданного режима публичности. Российская история XX века – это во многом история драматических разрывов, молчания и попыток восстановления связных исторических традиций публичной речи, история резких изменений социальных правил и форматов публичной полемики. Изучение истории политических языков в российском контексте может быть дополнено и обогащено анализом эволюции институтов публичной сферы в их отношениях с экономической, политической и административной властью, цензурой, пропагандой и даже террором, ограничивающими, но никогда полностью не уничтожающими мягкую *автономию* публичной полемики.

Историк, будучи частью академической системы, не перестает быть «политическим актором». Эта точка зрения, обоснованная Пококом в целой серии статей [Pocock 1996 / 2009; 1998 / 2009; 2005 / 2009], чрезвычайно важна для понимания прагматики подхода Кембриджской школы. В силу этого обстоятельства кембриджская методология не только имеет значение в контексте современных исторических и культурологических исследований, но и, шире, способна сформировать рефлексивную политическую культуру в России. Идеи Покока и Скиннера могут оказать стимулирующее воздействие как на исследования по интеллектуальной истории и истории дискурса в широком междисциплинарном поле, так и на формирование полноценной и методологически ответственной истории политической философии в России. Использование исследовательских матриц, разработанных для анализа дебатов в городских итальянских республиках и в Британии Нового времени, в разысканиях о русской политической истории предполагает дополнительную рефлексию о границах применимости метода. Прежде всего следует поставить вопрос о степени автономии публичной речи в рамках государственной репрессивной системы, политической традиции или экономических отношений, об институционализированных формах публичной дискуссии в отечественном контексте.

---

[35] О современных импликациях теории публичной сферы применительно к европейской истории XVIII века (в том числе библиографию) см.: [Goodman 1992; Van Horn Melton 2001]. О развитии историографии политических языков на несколько иных, нежели у Покока и Скиннера, лингвистических основаниях см., например: [Struever 1974; Хархордин 2012].

Содержательно наиболее актуальной для современной России представляется республиканская перспектива, предложенная Пококом для анализа истории социальной легитимации, освоения и одновременно ограничения господствующих в обществе коммерческих отношений, которые сегодня мы можем назвать капиталистическими (см., в частности: [Pocock 1985]). Нелегитимность частной собственности и коммерческих отношений, де-юре и во многом де-факто составляющих основу современных социальных отношений в России, делает социальные институты рынка и общественного порядка неустойчивыми и одновременно сужает возможность нормативной коррекции соответствующих коммерческих отношений и практик. Например, сложившиеся в России формулы порицания богатства не различают «административный откат» и «предпринимательскую прибыль», «олигарха» и «крупного предпринимателя». Подход к политическим языкам и традициям политической философии как к автономным типам социального действия позволяет видеть и, возможно, отчасти укреплять фундаментальную роль риторики и политической дискуссии в формировании устойчивых институтов современного российского общества.

В современной истории России капитализм и рыночные отношения были введены в результате стремительной серии радикальных реформ, на подготовку и публичное обоснование которых у реформаторов было очень мало времени. Этот опыт отчасти напоминает и предшествующий период: дворянская частная собственность, законодательно оформленная при Екатерине II, через полтора столетия оказалась недостаточно укорененной в общественных институтах. Кровавый и обесчеловечивающий опыт революции и опыт насильственного построения социалистической экономики, не обеспечившей длительной устойчивости, показывают, что легитимация частной собственности в России есть ключевое условие стабильного социального порядка как такового, а не просто защита политических и экономических интересов одной группы. При этом легитимация через общественную полемику исторически обозначает не просто признание прав собственности, но и встречные обязательства собственников перед обществом. Задача убедить общественное мнение в долгосрочных преимуществах капитализма, либеральных ценностей, представительной демократии или всерьез обсудить социальные последствия реформ выглядела в 1990-е годы как почти неразрешимая и, по сути, не ставилась. Более существенно то, что более двадцати лет спустя, медленно спускаясь с исторического пика экономического и потребительского благосостояния, российское общество не признает основы своего экономического устройства и почти неспособно обсуждать этот вопрос на понятном основным участникам разговора языке.

Аналитический инструментарий и круг вопросов, разработанных в исследованиях Покока и Скиннера, представляется чрезвычайно ценным. Недостаток глубокой и нормативной политической рефлексии в России может быть частично снят с помощью более внимательного отношения к эволюции отечественных языковых идиом. Мы можем выделить язык церковной проповеди и светской историософии, марксистские идиомы, риторику адвокатов, языки различных научных дисциплин, бюрократические языки и т. д. в их постоянном взаимодействии с западноевропейской традицией. Понимание центральной роли эволюции языков, риторики и «диалектов», служащих медиаторами общественных процессов и позволяющих артикулировать групповые интересы в общезначимых и узнаваемых терминах, имеет прежде всего научное значение. При этом постепенная кристаллизация и публичное осознание таких конвенциональных языков важны и с политической точки зрения. Напомним, что саму методологию интеллектуальной истории, исходящую из предположения о политической значимости риторических конвенций (ограничивающих произвол и насилие игроков и предоставляющих авторам относительную свободу по отношению к языку), Покок понимает как внутренне связанную с более общими предпосылками гуманистической либерально-консервативной политической философии. Это обстоятельство задает социальные ограничения на ее использование, однако публичное обсуждение истории общественно-политических языков укрепляет свободу

и точность высказываний участников публичной полемики независимо от их идеологических убеждений.

Методологическая программа, связанная с развитием идей Кембриджской школы, стала одной из основных исследовательских тем семинара по интеллектуальной истории при Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинке»). Мы благодарим руководителя семинара А. Л. Зорина за постоянное содействие в различных научных и просветительских начинаниях и за уникальную возможность регулярно и содержательно обсуждать интересующие нас теоретические и историко-культурные сюжеты.

Литература

[Бивир 2010] – *Бивир М.* Роль контекстов в понимании и объяснении [2000] / Пер. с англ. Д. Бондаренко // История понятий, история дискурса, история метафор / Под ред. Х. Э. Бёдекера. М., 2010. С. 112–152.

[Бикбов 2014] – *Бикбов А. Т.* Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М., 2014.

[Дмитриев 2004] – *Дмитриев А. Н.* Контекст и метод: (Предварительные соображения об одной становящейся исследовательской индустрии) // НЛО. 2004. № 66. С. 6–16.

[Дубина 2010] – *Дубина В.* Из Билефельда в Кембридж и обратно: Пути утверждения. «История понятий» в России: Послесловие // История понятий, история дискурса, история метафор / Под ред. Х. Э. Бёдекера. М., 2010. С. 298–319.

[Козеллек 2006] – *Козеллек Р.* Социальная история и история понятий / Пер. с нем. Ю. И. Басилова // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века / Под ред. Н. Е. Копосова, М. М. Крома и Н. Д. Потаповой. СПб., 2006. С. 33–53.

[Миллер, Сдвижков, Ширле 2012] – *Миллер А. И., Сдвижков Д. А., Ширле И.* «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. / Под ред. А. И. Миллера, Д. А. Сдвижкова и И. Ширле. Т. 1. М., 2012. С. 5–46.

[Скиннер 2002] – *Скиннер Кв.* The State [1989] / Пер. с англ. Д. Федотенко // Понятие государства в четырех языках / Под ред. О. Хархордина. СПб., 2002. С. 12–74.

[Скиннер 2004] – *Скиннер Кв.* Коллингвудовский подход к истории политической мысли: Становление, вызов, перспективы / Пер. с англ. Ю. Идлис // НЛО. 2004. № 66. С. 55–66.

[Скиннер 2006] – *Скиннер Кв.* Свобода до либерализма / Пер. с англ. А. Магуна. СПб., 2006.

[Скиннер 2009] – *Скиннер Кв.* Макиавелли: Очень краткое введение / Пер. с англ. М., 2009.

[Скиннер 2011] – *Скиннер Кв.* Идея негативной свободы: Философские и исторические перспективы / Пер. с англ. С. В. Моисеева // Политическая концептология. 2011. № 3. С. 131–151.

[Скиннер 2013] – *Скиннер Кв.* Итак, как мы понимаем свободу? Генеалогия свободы: Лекция в университете Нового Южного Уэльса 30 августа 2012 г. / Пер. с англ. В. Макарова под ред. И. Герасимова // Ab Imperio. 2013. № 1. С. 21–54.

[Скиннер 2015] – *Скиннер Кв.* О свободе республик / Пер. с англ. // Современная республиканская теория свободы / Под ред. Е. Рощина. СПб., 2015. С. 25–42.

[Скиннер 2017] – *Скиннер Кв.* Амброджо Лоренцетти о силе и славе республик / Пер. с англ. Н. Поселягина // НЛО. 2017. № 146. С. 39–60.

[Скиннер 2018] – *Скиннер Кв.* Истоки современной политической мысли: В 2 т. / Пер. А. Олейникова и А. Яковлева. М., 2018.

[Топычканов 2016] – *Топычканов А. В.* История понятий как политологическая дисциплина: (К выходу перевода словаря основных политических понятий) // Полис. 2016. № 3. С. 181–191.

[Хархордин 2012] – *Хархордин О. В.* История понятий как метод теории практик // Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов и Ю. В. Кагарлицкий. М., 2012. С. 7–23.

[Хархордин 2015] – Интервью с Олегом Хархординым / Взято Т. Атнашевым и М. Велижевым; расшифровка аудиозаписи Е. Мусиной // НЛО. 2015. № 134. С. 119–132.

[Шартье 2004] – *Шартье Р.* Интеллектуальная история и история ментальностей: Двойная переоценка? / Пер. с англ. Н. Мовниной // НЛО. 2004. № 66. С. 44–47.

[Armitage 2006] – British Political Thought in History, Literature and Theory, 1500–1800 / Ed. by D. Armitage. Cambridge, 2006.

[Armitage, Himy, Skinner 1995] – Milton and Republicanism / Ed. by D. Armitage, A. Himy, and Q. Skinner. Cambridge, 1995.

[Ball, Farr, Hanson 1989] – Political Innovation and Conceptual Change / Ed. by T. Ball, J. Farr, and R. L. Hanson. Cambridge, 1989.

[Bevir 1992] – *Bevir M.* The Errors of Linguistic Contextualism // History and Theory. 1992. Vol. 31. № 3. P. 276–298.

[Bevir 2004] – *Bevir M.* The Logic of the History of Ideas. Cambridge, 2004.

[Bock, Skinner, Viroli 1990] – Machiavelli and Republicanism / Ed. by G. Bock, Q. Skinner, and M. Viroli. Cambridge, 1990.

[Bourdieu 2001] – *Bourdieu P.* Langage et pouvoir symbolique. Paris, 2001.

[Brett 2002] – *Brett A.* What Is Intellectual History Now? // What Is History Now? / Ed. by D. Cannadine. London, 2002. P. 113–131.

[Brett, Tully, Hamilton-Bleakley 2006] – Rethinking the Foundations of Modern Political Thought / Ed. by A. Brett and J. Tully with H. Hamilton-Bleakley. Cambridge, 2006.

[Castiglione, Hampsher-Monk 2001] – The History of Political Thought in National Context / Ed. by D. Castiglione and I. Hampsher-Monk. Cambridge, 2001.

[Chignola, Duso 2008] – *Chignola S., Duso G.* Storia dei concetti e filosofia politica. Milano, 2008.

[Clark 2006] – *Clark J. D. C.* Barbarism, Religion and the History of Political Thought // The Political Imagination in History: Essays Concerning J. G. A. Pocock / Ed. by D. N. DeLuna with the assistance of P. Anderson and G. Burgess. Baltimore, 2006. P. 211–230.

[DeLuna, Anderson, Burgess 2006] – The Political Imagination in History: Essays Concerning J. G. A. Pocock / Ed. by D. N. DeLuna with the assistance of P. Anderson and G. Burgess. Baltimore, 2006.

[Dunn 1968] – *Dunn J.* The Identity of the History of Ideas // Philosophy. 1968. Vol. 43. № 164. P. 85–104.

[Dunn 1996] – *Dunn J.* The History of Political Theory // Dunn J. The History of Political Theory and Other Essays. Cambridge, 1996. P. 11–38.

[Floyd, Stears 2011] – Political Philosophy versus History? Contextualism and Real Politics in Contemporary Political Thought / Ed. by J. Floyd and M. Stears. Cambridge, 2011.

[Gombrich 1960] – *Gombrich E. H.* Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London, 1960.

[Goodman 1992] – *Goodman D.* Public Sphere and Private Life: Toward a Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old Regime // History and Theory. 1992. Vol. 31. № 1. P. 1–20.

[Grafton 2006] – *Grafton A.* The History of Ideas: Precept and Practice, 1950–2000 and Beyond // Journal of the History of Ideas. 2006. Vol. 67. № 1. P. 1–32.

[Guilhaumou 2010] – *Guilhaumou J.* Discorso ed evento: Per una storia linguistica delle idee [2006] / Trad. e introd. di R. Raus. Roma, 2010.

[Habermas 1962] – *Habermas J.* Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1962.

[Hampsher-Monk 1984] – *Hampsher-Monk I.* Political Languages in Time – The Work of J. G. A. Pocock // British Journal of Political Science. 1984. Vol. 14. № 1. P. 89–116.

[Hampsher-Monk 1998] – *Hampsher-Monk I.* Speech Acts, Languages or Conceptual History? // History of Concepts: Comparative Perspective / Ed. by I. Hampsher-Monk, K. Tilmans, and F. Van Vree. Amsterdam, 1998. P. 37–50.

[Hankins 2000] – *Hankins J.* Introduction // Renaissance Civic Humanism: Reappraisals and Reflections / Ed. by J. Hankins. Cambridge, 2000. P. 1–13.

[Hollis, Skinner 1978] – *Hollis M., Skinner Q.* Action and Context // Proceedings of the Aristotelian Society. 1978. Supplementary vol. 52. P. 43–69.

[Hume 2006] – *Hume R. D.* Pocock's Contextual Historicism // The Political Imagination in History: Essays Concerning J. G. A. Pocock / Ed. by D. N. DeLuna with the assistance of P. Anderson and G. Burgess. Baltimore, 2006. P. 27–55.

[Jacoby 1992] – *Jacoby R.* A New Intellectual History? // The American Historical Review. 1992. Vol. 97. № 2. P. 405–424.

[Jeppesen, Stjernfelt, Thorup 2013] – *Jeppesen M. H., Stjernfelt F., Thorup M.* Preface // Intellectual History: 5 Questions / Ed. by M. H. Jeppesen, F. Stjernfelt, and M. Thorup. Copenhagen, 2013. P. III–V.

[Kalmo, Skinner 2010] – Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept / Ed. by H. Kalmo and Q. Skinner. 2010.

[King 1983] – The History of Ideas: An Introduction to Method / Ed. by P. King. London; Canberra, 1983.

[King 1995] – *King P.* Historical Contextualism: The New Historicism? // History of European Ideas. 1995. Vol. 21. № 2. P. 209–233.

[LaCapra 1983] – *LaCapra D.* Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language. Ithaca, N. Y., 1983.

[LaCapra 1992] – *LaCapra D.* Intellectual History and Its Ways // The American Historical Review. 1992. Vol. 97. № 2. P. 425–439.

[Mulsow, Mahler 2010] – *Mulsow M., Mahler A.* Einleitung // Die Cambridge School des politischen Ideengeschichte / Hg. von M. Mulsow und A. Mahler. Berlin, 2010. S. 7–17.

[Muscolino 2012] – *Muscolino S.* Linguaggio, storia e politica: Ludwig Wittgenstein e Quentin Skinner. Palermo, 2012.

[Pagden 1985] – The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe / Ed. by A. Pagden. Cambridge, 1985.

[Pagden 1988] – *Pagden A.* Review: Rethinking the Linguistic Turn: Current Anxieties in Intellectual History // Journal of the History of Ideas. 1988. Vol. 49. № 3. P. 519–529.

[Palonen 1999] – *Palonen K.* Rhetorical and Temporal Perspectives on Conceptual Change // The Finnish Yearbook of Political Thought. 1999. Vol. III. P. 41–59.

[Palonen 2003] – *Palonen K.* Quentin Skinner: History, Politics, Rhetoric. Cambridge, 2003.

[Pettit 1997] – *Pettit Ph.* Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford, 1997.

[Phillipson, Skinner 1993] – Political Discourse in Early Modern Britain / Ed. by N. Phillipson and Q. Skinner. Cambridge, 1993.

[Pocock 1957] – *Pocock J. G. A.* The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. Cambridge, 1957.

[Pocock 1962] – *Pocock J. G. A.* The History of Political Thought: A Methodological Inquiry // Philosophy, Politics and Society. 2nd series / Ed. by P. Laslett and W. G. Runciman. Oxford, 1962. P. 183–202.

[Pocock 1965] – The Maori and New Zealand Politics: Talks from a N. Z. B. C. Series with Additional Essays / Ed. by J. G. A. Pocock. Auckland, 1965.

[Pocock 1971] – *Pocock J. G. A.* Politics, Language, and Time: Essays on Political Thought and History. Chicago, 1971.

[Pocock 1971/2009] – *Pocock J. G. A.* Working on Ideas in Time [1971] // Pocock J. G. A. Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. 20–32.

[Pocock 1975] – *Pocock J. G. A.* The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, 1975.

[Pocock 1980] – Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776 / Ed. by J. G. A. Pocock. Princeton, 1980.

[Pocock 1985] – *Pocock J. G. A.* Virtue, Commerce and History: Essays on Political Thought and History, Chiefly in the Eighteenth Century. Cambridge, 1985.

[Pocock 1987 / 2009] – *Pocock J. G. A.* The Concept of a Language and the *métier d'historien*: Some Considerations on Practice [1987] // Pocock J. G. A. Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. 87–105.

[Pocock 1996] – *Pocock J. G. A.* Concepts and Discourses: A Difference in Culture? Comment on a Paper by Melvin Richter // The Meaning of Historical Terms and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte / Ed. by H. Lehmann and M. Richter. Washington, 1996. P. 47–58.

[Pocock 1996 / 2009] – *Pocock J. G. A.* The Historian as Political Actor in Polity, Society and Academy [1996] // Pocock J. G. A. Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. 217–238.

[Pocock 1998 / 2009] – *Pocock J. G. A.* The Politics of History: The Subaltern and the Subversive [1998] // Pocock J. G. A. Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. 239–256.

[Pocock 1999–2015] – *Pocock J. G. A.* Barbarism and Religion: In 6 vols. Cambridge, 1999–2015.

[Pocock 2005 / 2009] – *Pocock J. G. A.* The Politics of Historiography [2005] // Pocock J. G. A. Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. 257–271.

[Pocock 2006] – *Pocock J. G. A.* Foundations and Moments // Rethinking the Foundations of Modern Political Thought / Ed. by A. Brett and J. Tully with H. Hamilton-Bleakley. Cambridge, 2006. P. 37–49.

[Pocock 2009] – *Pocock J. G. A.* Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009.

[Pocock 2013] – *Pocock J. G. A.* Intellectual History // Intellectual History: 5 Questions / Ed. by M. H. Jeppesen, F. Stjernfelt, and M. Thorup. Copenhagen, 2013. P. 143–145.

[Pocock, Schochet, Schwoerer 1993] – The Varieties of British Political Thought, 1500–1800 / Ed. by J. G. A. Pocock with the assistance of G. J. Schochet and L. Schwoerer. Cambridge, 1993.

[Richter 1995] – *Richter M.* Pocock, Skinner and *Begriffsgeschichte* // The History of Political and Social Concepts: A Critical Introduction / Ed. by M. Richter. New York; Oxford, 1995. P. 124–142.

[Rorty, Schneewind, Skinner 1984] – Philosophy in History: Essays on the Historiography of Philosophy / Ed. by R. Rorty, J. B. Schneewind, and Q. Skinner. Cambridge, 1984.

[Simmons 2012] – *Simmons D.* The Weight of the *Moment*: J. G. A. Pocock's Politics of History // History of European Ideas. 2012. Vol. 38. № 2. P. 288–306.

[Schmitt et al. 1988] – The Cambridge History of Renaissance Philosophy / Ed. by C. B. Schmitt, Q. Skinner, E. Kessler and J. Kraye. Cambridge, 1988.

[Skinner 1969] – *Skinner Q.* Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory. 1969. Vol. 8. № 1. P. 3–53.

[Skinner 1975] – *Skinner Q.* Hermeneutics and the Role of History // New Literary History. 1975. Vol. 7. № 1. P. 209–232.

[Skinner 1978] – *Skinner Q.* The Foundations of Modern Political Thought: In 2 vols. Vol. 1: The Renaissance; Vol. 2: The Age of Reformation. Cambridge, 1978.

[Skinner 1981] – *Skinner Q.* Machiavelli. Oxford, 1981.

[Skinner 1985] – The Return of Grand Theory in the Human Sciences / Ed. by Q. Skinner. Cambridge, 1985.

[Skinner 1988a] – *Skinner Q.* A Reply to My Critics // Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics / Ed. by J. Tully. Princeton, 1988. P. 231–288.

[Skinner 1988b] – *Skinner Q.* Language and Social Change // Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics / Ed. by J. Tully. Princeton, 1988. P. 119–132.

[Skinner 1988c] – *Skinner Q.* “Social Meaning” and the Explanation of Social Action // Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics / Ed. by J. Tully. Princeton, 1988. P. 79–96.

[Skinner 1996] – *Skinner Q.* Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge, 1996.

[Skinner 1998] – *Skinner Q.* Liberty before Liberalism. Cambridge, 1998.

[Skinner 1999] – *Skinner Q.* Rhetoric and Conceptual Change // The Finnish Yearbook of Political Thought. 1999. Vol. III. P. 60–73.

[Skinner 2002] – *Skinner Q.* Visions of Politics: In 3 vols. Vol. 1: Regarding Method; Vol. 2: Renaissance Virtues; Vol. 3: Hobbes and Civil Science. Cambridge, 2002.

[Skinner 2008] – *Skinner Q.* Hobbes and Republican Liberty. Cambridge, 2008.

[Skinner 2011] – Families and States in Western Europe / Ed. by Q. Skinner. Cambridge, 2011.

[Skinner 2012] – On Politics and History: A Discussion with Quentin Skinner by Georgios Giannakopoulos and Francisco Quijano // Journal of Intellectual History and Political Thought. 2012. № 1. P. 7–31.

[Skinner 2014] – *Skinner Q.* Forensic Shakespeare. Oxford, 2014.

[Skinner 2018] – *Skinner Q.* From Humanism to Hobbes: Studies in Rhetoric and Politics. Cambridge, 2018.

[Skinner, Stråth 2003] – States and Citizens: History, Theory, Prospects / Ed. by Q. Skinner and B. Stråth. Cambridge, 2003.

[Struever 1974] – *Struever N.* The Study of Language and the Study of History // The Journal of Interdisciplinary History. 1974. Vol. 4. № 3. P. 401–415.

[Thompson 1993] – *Thompson M. P.* Reception Theory and the Interpretation of Historical Meaning // History and Theory. 1993. Vol. 32. № 3. P. 248–272.

[Toews 1987] – *Toews J. E.* Review: Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreducibility of Experience // The American Historical Review. 1987. Vol. 92. № 4. P. 879–907.

[Tuck 1993] – *Tuck R.* The Contribution of History // A Companion to Contemporary Political Philosophy / Ed. by R. E. Goodin and Ph. Pettit. Oxford, 1993. P. 72–89.

[Tully 1988] – Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics / Ed. by J. Tully. Princeton, 1988.

[Tully 2002] – *Tully J.* Political Philosophy as a Critical Activity // Political Theory. 2002. Vol. 30. № 4. P. 533–555.

[Van Gelderen 1998] – *Van Gelderen M.* Between Cambridge and Heidelberg: Concepts, Languages and Images in Intellectual History // History of Concepts: Comparative Perspective / Ed. by I. Hampsher-Monk, K. Tilmans, and F. Van Vree. Amsterdam, 1998. P. 227–238.

[Van Gelderen, Skinner 2002] – Republicanism: A Shared European Heritage: In 2 vols. / Ed. by M. van Gelderen and Q. Skinner. Cambridge, 2002.

[Van Horn Melton 2001] – *Van Horn Melton J.* Introduction: What Is the Public Sphere? // Van Horn Melton J. The Rise of the Public in Enlightenment Europe. Cambridge, 2001. P. 1–15.

[Vincent 2003] – *Vincent J.* Concepts et contextes de l’histoire intellectuelle britannique: L’«École de Cambridge» à l’épreuve // Revue d’histoire moderne et contemporaine. 2003. T. 50. № 2. P. 187–207.

[White 1969] – *White H.* The Task of Intellectual History // The Monist. 1969. Vol. 53. № 4. P. 606–630.

Методологические манифесты

Квентин Скиннер
Значение и понимание в истории идей[36]

Моя цель – рассмотреть ключевой, как мне представляется, вопрос, неизбежно встающий перед историком идей[37], когда он имеет дело с неким произведением, которое старается понять. Предметом изучения для него может выступать художественное произведение: стихотворение, пьеса, роман – или философский труд, например эссе на этические, политические, религиозные или какие-либо иные темы. Однако основной вопрос во всех этих случаях остается неизменным: какими методиками следует руководствоваться в процессе интерпретации произведения? Конечно, существует два традиционных (хотя и противоречащих друг другу) ответа на этот вопрос, у каждого из которых, по-видимому, немало приверженцев. Сторонники первого (пожалуй, все более популярного среди историков идей) уверены, что именно *контекст* «религиозных, политических и экономических факторов» обусловливает значение данного текста, поэтому любая попытка его интерпретации должна осуществляться в рамках системы этих факторов. При этом другая традиция (вероятно, все же получившая более широкое признание) настаивает на автономности текста, который сам в себе содержит единственный ключ к своему пониманию, и отвергает любую попытку восстановить «целостный контекст» как «по меньшей мере неоправданную»[38].

В своей статье я попытаюсь по очереди рассмотреть обе эти традиции и показать, что обе они в конечном счете страдают одним и тем же недостатком: ни один из этих подходов не предоставляет достаточных или даже подходящих средств для адекватного истолкования любого из приведенных художественных или философских произведений. Обе методологии, как можно увидеть, допускают философские ошибки в предположениях о том, какие условия считать необходимыми для понимания высказываний. Вот почему в результате приверженности той или иной из этих традиций современная научная литература по истории идей изобилует путаницей понятий и ошибочными эмпирическими претензиями.

Попытка обосновать это утверждение неизбежно подразумевает определенную критику и отрицание. Тем не менее я предпринимаю ее, веря, что станут очевидны намного более положительные и конструктивные ее следствия; ведь характер смешения понятий, происходящего сегодня в истории идей, указывает не только на необходимость альтернативного подхода, но и на то, какой именно метод следует освоить, чтобы избежать подобного смешения. Я полагаю,

---

[36] Впервые опубликовано в: *Skinner Q.* Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory. 1969. Vol. 8. № 1. P. 3–53. Перевод осуществлен по изданию: *Skinner Q.* Meaning and Understanding in the History of Ideas // Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics / Ed. by J. Tully. Princeton: Princeton University Press, 1988. P. 29–67. Публикуется с согласия правообладателя © Princeton University Press.

[37] См. анализ различных и теперь сбивающих с толку употреблений этого неизбежного выражения: [Mandelbaum 1965: 33, fn.]. Здесь я использую этот термин последовательно, однако с намеренной неопределенностью, просто чтобы охватить как можно более широкий спектр исторических исследований интеллектуальных проблем.

[38] Эти цитаты заимствованы мной из одного из множества литературоведческих споров между «учеными» и «критиками». Понятия и темы этой дискуссии схожим образом (хотя и менее осознанно) повторяются в связи с историей философских идей. Именно из этой последней области я в основном и возьму примеры. Кроме того, я попытаюсь ограничиться примерами из произведений, которые либо являются классическими, либо используются в настоящее время. То обстоятельство, что в большинстве своем они принадлежат истории политических идей, объясняется лишь моими собственными интересами. См. пример приверженности «контекстуальной интерпретации», о которой здесь говорится: [Bateson 1953: 16]. Противоположная точка зрения – что текст есть «нечто законченное» – взята отсюда: [Leavis 1953: 173].

что этот альтернативный подход окажется более удовлетворительным в историческом плане и, более того, поможет истории идей развить собственную философскую проблематику.

I

Сначала я хотел бы рассмотреть методологию, основанную на утверждении, что *текст* должен оставаться самодостаточным объектом изучения и интерпретации, поскольку в рамках именно этой посылки по-прежнему проводится большинство исследований, затрагиваются наиболее обширные философские проблемы и чаще всего возникает путаница. Логика этого подхода, если говорить как об истории идей, так и непосредственно о литературоведении, укоренена в определенной точке зрения на проведение исследования как такового. Смысл изучения философских (или художественных) произведений прошлого состоит, как принято считать, исключительно в том, что в них содержатся (излюбленные фразы) «вневременные элементы» [Merkl 1967: 3][39], облеченные в форму «универсальных идей» [Bluhm 1965: 13], и даже «извечная мудрость» [Catlin 1950: x], «подходящая для любой ситуации» [Hacker 1954: 783].

Получается, что историк, занявший такую позицию, уже решил для себя вопрос, каким образом лучше достичь понимания подобных «классических текстов»[40]. Ведь если задача исследования формулируется лишь в терминах выявления «вневременных вопросов и ответов», содержащихся в «великих произведениях», и демонстрации их непреходящей «актуальности»[41], историк не просто может, а обязан сосредоточиться только на том, что каждый из классиков *сказал*[42] о каждом из «основополагающих понятий» и «неизменных вопросов»[43]. Цель, короче говоря, должна состоять в «пересмотре классических произведений вне исторического контекста их появления как обладающих вневременной значимостью попыток сформулировать универсальные принципы политической реальности» [Bluhm 1965: v]. Предположить же, что знание социального контекста является необходимым условием понимания классических текстов, равноценно отрицанию наличия в них вневременных элементов и вечных тем, а значит, изучение сказанного в них лишается смысла.

Именно из этой непременной уверенности, что от любого классика можно ожидать размышлений и высказываний по поводу определенного набора «основополагающих понятий» или «вечных тем», по всей видимости, в основном и возникает путаница, порожденная этим подходом к изучению истории как литературной, так и философской мысли. Однако почему такая уверенность ведет к заблуждению, однозначно сказать трудно. Легко осудить этот постулат как «роковую ошибку» [MacIntyre 1966a: 2][44], но так же легко заявить, что в нем должна заключаться какая-то доля истины. Ведь нельзя полагать, что история каждого из различных интеллектуальных поисков характеризуется использованием «вполне устойчивого лексикона» [Wolin 1961: 27][45] типичных понятий. Даже если придерживаться размытой – в духе

---

[39] О «вечных формах» и «вечных вопросах» классических текстов см. также: [Morgenthau 1958: 1; Sibley 1958: 133] (где содержится и много других утверждений такого рода).

[40] Я повсюду использую это малосимпатичное выражение, поскольку именно его, как правило, употребляют все историки идей, явно подразумевая некий устоявшийся «канон».

[41] См. пример утверждения, что основной причиной изучения «классических текстов» «следует считать их актуальность»: [McCloskey 1957: 129]. О «вневременных вопросах и ответах» можно прочитать в любом учебном пособии; в более общем виде это правило сформулировано в статье Хэкера: [Hacker 1954].

[42] О необходимости сосредоточиться на высказываниях каждого классика см.: [Jaspers 1962: Preface], а также: [Nelson 1962: 32–33]. Применение этого принципа на практике см. в работах: [Murphy 1951: v] – о том, «что сказал Платон»; [Ryan 1965: 219] – о том, «что сказал Локк»; [Strauss 1948: 7] – о Ксенофонте и о том, «что он сам говорит».

[43] Об «основополагающих понятиях» см., например: [McCoy 1963: 7]. О «неизменных вопросах» см., например, предисловие к книге: [Strauss, Cropsey 1963].

[44] Однако замечания, высказанные в этом введении, очень проницательны и уместны.

[45] Во вводной главе дан точный обзор «лексикона политической философии»; особенно см.: [Wolin 1961: 11–17].

моды – теории, согласно которой мы можем как-то определить и описать эти разнообразные процессы лишь в силу их «семейного сходства», мы все равно должны руководствоваться *какими-то* критериями и правилами, на чьем основании мы приводим одни высказывания в качестве примеров данного процесса и исключаем другие. Иначе у нас в конечном счете не будет возможности – и тем более оснований – представлять и описывать, например, историю этических или политических концепций как историю каких-то наблюдаемых действий вообще. На самом деле путаница, по-видимому, возникает главным образом не из-за нелепости, а из-за правдивости утверждения, что все подобные процессы должны затрагивать определенный набор понятий. Ведь если между проявлениями этих процессов должно быть хоть какое-то семейное сходство, которое мы должны уловить, чтобы определить сам процесс, никакой наблюдатель не сможет изучать этот процесс или какое-нибудь его проявление без каких-то предварительных представлений о том, что он ожидает увидеть.

Эта дилемма актуальна для истории идей – и особенно для утверждения, что предметом изучения историка должен быть лишь текст как таковой, – поскольку в действительности никогда не получится просто исследовать то, что *сказал* тот или иной классический автор (в особенности если речь идет о другой культуре), оставив в стороне наши ожидания по поводу того, что он должен был говорить. Эта дилемма известна психологам как – очевидно, неминуемый [Allport 1955][46] – фактор, определяющий *ментальную установку* наблюдателя. Наш прошлый опыт «подсказывает нам определенное восприятие деталей». И когда найден подходящий угол зрения, «начинается процесс *подготовки* к тому, чтобы воспринимать или реагировать определенным образом» [Allport 1955: 239]. Итоговая дилемма в рамках моей нынешней задачи может быть сформулирована в ключевом по форме, но на деле очень расплывчатом предположении, что те модели и предварительные представления, в терминах которых мы неизбежно организуем и к которым приспосабливаем свои впечатления и мысли, сами будут влиять на то, что мы думаем или ощущаем. Чтобы понимать, мы должны структурировать, а структурировать то, что нам незнакомо, мы можем, только опираясь на то, что нам знакомо[47]. Таким образом, опасность нашего стремления расширить историческую интерпретацию состоит в том, что наши ожидания относительно чьих-либо высказываний или действий могут заставить нас приписывать другому действия, которые тот не стал бы – или даже не смог бы – соотносить с тем, что он *действительно* делал.

Это представление о приоритете парадигм уже продуктивно используется в искусствоведении[48] и привело к тому, что чисто историцистский подход, изучавший эволюцию отображения реальности, уступил место подходу, при котором задача состоит в том, чтобы прослеживать изменения намерений и конвенций. Не так давно подобная работа – в общих чертах убедительная – появилась и в области истории науки [Kuhn 1962][49]. Здесь я попытаюсь применить схожий набор понятий к истории идей. Мой метод будет заключаться в том, чтобы установить, до какой степени современные исторические исследования этических, политических, религиозных и других подобных идей отягощены неосознанным использованием парадигм, знакомство историков с которыми выдает явную неприменимость этих парадигм к прошлому. Разумеется, я не пытаюсь отрицать, что методология, которую я пытаюсь критиковать, в некоторых случаях приводила к выдающимся результатам. Однако я хотел бы, во-первых,

---

[46] См. здесь иллюстрацию того, как понятие установки (set) «проникает во все фазы изучения восприятия» [Allport 1955: 240] и повторяется в теориях, которые в остальном несхожи между собой.

[47] В результате возникает история философии, воспринятая с точки зрения наших собственных (чьих же еще?) философских критериев и интересов, что хорошо показано в работе: [Dunn 1968: 97–98].

[48] См. в особенности: [Gombrich 1960], откуда я заимствую концепцию «парадигм». Профессору Гомбриху принадлежит также подходящий к случаю афоризм: «Лишь там, где есть способ, может возникнуть намерение» [Gombrich 1960: 75].

[49] См. особенно главу V, где также возникает положение о первичности парадигм. Разумеется, сама идея хорошо известна всем, кроме эмпириков. Ср. утверждение, что в любой период мышление организуется в соответствии с «констелляциями абсолютных пресуппозиций»: [Collingwood 1940: ch. 7].

подчеркнуть, что различные методики, с чьей помощью можно изучать лишь то, что *говорит* каждый из классиков, неизбежно чреваты опасностью разного рода исторических нелепостей, а во-вторых, разобрать различные схемы, в соответствии с которыми полученные результаты могут быть поняты даже не как истории, а скорее как *мифологии*.

Наиболее устойчивая мифология создается, когда историком *движет* ожидание, что любой классический автор (скажем, в области этических или политических идей) должен провозглашать какую-то теорию по каждой из ключевых для него тем. При такой парадигме велик риск попасть под влияние (причем неосознанное) стремления «обнаружить» у данного автора теорию на любую из востребованных тем. В результате (очень часто) возникает тип дискуссии, который можно назвать мифологией теорий.

Такая мифология принимает различные формы. Прежде всего, есть опасность превратить какие-то разрозненные или почти случайные реплики классика в его «теорию» по поводу одного из обязательных вопросов. Здесь, в свою очередь, может возникнуть исторический абсурд двух разновидностей, одна из которых характерна прежде всего для интеллектуальных биографий и обзорной истории мысли, где в центре внимания оказываются отдельные теоретики (или ряд теоретиков), а другая в большей степени типична для собственно «истории идей», где акцент делается на развитии какой-то конкретной «идеи» как таковой.

В случае с интеллектуальной биографией возникает риск явного анахронизма. Может «выясниться» на основании какого-то случайного сходства в словоупотреблении, что автор высказывался о предмете, о котором и не предполагал размышлять. Например, Марсилий Падуанский в одном месте трактата «Защитник мира» говорит в типично аристотелевском духе о роли правителя в сравнении с ролью независимых законодателей [Marsilius of Padua 1951–1956, II: 61–67]. Современному комментатору, читающему данный отрывок, разумеется, знакома доктрина, со времен Американской революции игравшая важную роль в конституциональной теории и практике, – согласно ей, одним из условий политической свободы является разделение исполнительной и законодательной ветвей власти. Исторически сам этот постулат восходит[50] к предположению историков (впервые выдвинутому спустя приблизительно два столетия после смерти Марсилия), что превращение Римской республики в империю указало на угрозу, которой подвергается свобода подданных в государстве, когда централизованная политическая власть сосредоточена в одних руках. Очевидно, что Марсилий не знал об этих исторических сочинениях, как и об уроках, которые следовало из них извлечь. (В своих размышлениях он на самом деле опирается на четвертую книгу «Политики» Аристотеля и даже не затрагивает вопрос политической свободы.) Однако ни один из этих фактов не помешал завязаться оживленной и лишенной всякого смысла дискуссии о том, можно ли сказать, что у Марсилия была собственная «теория» разделения власти, и если да, то «можно ли счесть его родоначальником этой теории» [Marsilius of Padua 1951–1956, I: 232]. Даже те специалисты, которые отрицали, что Марсилию следует приписывать подобную теорию, основывались на его тексте[51], совершенно не пытаясь указать на несостоятельность предположения, что он вообще *мог* участвовать в споре, категории которого были ему недоступны и суть которого ему была непонятна. Такого же рода анахронизм присутствует в дискуссии по поводу знаменитого мнения, высказанного сэром Эдвардом Коком по делу Бонема и указывающего на то, что общее право в Англии иногда может перевешивать парламентский статут. Современные (в первую очередь американские) комментаторы в этой связи приводят намного более поздние реплики, касающиеся понятия судебного контроля. Сам Кок – как и кто-либо другой в XVII веке – ничего не знал об этом понятии. (Делая свое заявление, он во многом выступал как предста-

[50] Как показано в статье: [Pocock 1965]. Ср. также: [Bailyn 1967].

[51] См. библиографию: [Marsilius of Padua 1951–1956, I: 234, fn.]. Аргументацию, основанную исключительно на тексте, см., например, в: [D'Entrèves 1939: 58].

витель партии, пытающейся убедить короля Якова I, что закон определяется в первую очередь традицией, а не, как ранее утверждал Яков, волей монарха [Pocock 1957: ch. 11].) Однако всех этих историографических соображений оказалось недостаточно, чтобы предотвратить долгое обсуждение абсолютно бессмысленного вопроса, «действительно ли Кок хотел высказаться в защиту судебного контроля» [Gwyn 1965: 50, fn.], или предположения, будто он *осознанно* стремился сформулировать «новую теорию» и «внести этот выдающийся вклад в политическую науку» [Plucknett 1926: 68][52]. Кроме того, ученые, отрицавшие, что Коку была присуща подобная прозорливость, в своих выводах ссылались, опять же, на переосмысление текста Кока в историографическо-правовом ключе[53], вместо того чтобы оспорить логическую несостоятельность предшествующих реплик о намерениях Кока.

Помимо этой возможности необдуманно приписывать высказыванию автора смысл, которого оно не могло содержать, поскольку смысл этот автору был недоступен, существует и другая (возможно, еще более коварная) ловушка – с излишней готовностью «вчитать» в текст теорию, которой данный автор в принципе мог придерживаться, но которую не пытался сформулировать. Возьмем, например, замечания о естественной социальности человека, высказанные Ричардом Хукером в работе «О законах церковной организации» (I, x, 4). Мы можем быть вполне уверены, что намерение Хукера (то, что он подразумевал) заключалось – как и у многих схоластических законоведов того времени, приводивших этот довод, – лишь в том, чтобы разграничить божественное происхождение церкви и в большей степени земное происхождение государства. Однако современный комментатор, которому он неизбежно представляется первым в ряду преемственности поколений «от Хукера к Локку и от Локка к идеологам Просвещения», без особых затруднений усматривает в его словах не более и не менее как «теорию общественного договора» [Morris 1953: 181, 197]. Также можно вспомнить и отдельные высказывания Джона Локка об опеке во «Втором трактате о правлении» (149, 155). Очевидно, что Локк всего лишь хотел привести одну из наиболее распространенных в политических трактатах того времени юридических аналогий. Тем не менее современному комментатору, который, опять же, считает Локка родоначальником постулата о «власти с согласия народа», хватает терпения собрать «разбросанные по тексту» замечания на эту тему и обнаружить у Локка не менее чем «теорию политического доверия» [Gough 1950: ch. 3 (о власти с согласия народа), 145 (об опеке)]. Или еще возьмем замечания из «Республики Океании» Джеймса Харрингтона о месте юристов в политической жизни. Историк, который ищет здесь (в данном случае, видимо, вполне справедливо) истоки взглядов республиканцев – сторонников идей Харрингтона – на разделение властей, может быть мгновенно сбит с толку, обнаружив, что Харрингтон («странным образом») даже не упоминает в этой связи государственных чиновников. Но если он «знает», что следует ожидать применения данной группой этой теории, то без особых затруднений будет настаивать, что, «по всей видимости, перед нами приблизительная формулировка этой теории» [Gwyn 1965: 52]. Во всех этих случаях, когда кажется, что за словами того или иного автора кроется некая «теория», мы оказываемся перед одним и тем же неизбежным и необходимым вопросом: если, как предполагается, все эти авторы *осознанно пытались* сформулировать приписываемую им теорию, почему они потерпели столь явную неудачу, что теперь историкам остается восстанавливать их намерения на основе догадок и неопределенных намеков? Единственный правдоподобный ответ опровергает саму эту предпосылку: автор все-таки не собирался (или даже в принципе не мог) провозглашать данную теорию.

Такого же рода тенденцию рассматривать историю идей под углом той или иной парадигмы, превращая ее ключевую проблему в мифологию теорий, можно несколько иначе про-

[52] Утверждение, что Кок в действительности «осознанно сформулировал» принцип, «который сегодня используется в американской судебной системе», можно найти также в статье: [Convin 1929: 368]. Ср. работу того же автора: [Convin 1948: 42].

[53] Опровержение исключительно с точки зрения текста см. в статье: [Thorne 1938].

иллюстрировать на примере тех работ по истории идей, цель которых (по выражению профессора Лавджоя, основоположника этого подхода) состоит в том, чтобы проследить морфологию какой-либо теории «во всех областях истории, где она встречается» [Lovejoy 1960: 15]. Типичной для подобных исследований отправной точкой является поиск идеального образца данной теории – идет ли речь о теории равенства, прогрессе, макиавеллизме, общественном договоре, великой цепи бытия, разделении властей или чем-либо другом. Такой подход опасен прежде всего тем, что исследуемая теория сразу начинает рассматриваться как целое. Когда историк, как положено, отправляется на поиски идеи, которую описывает, он часто начинает рассуждать так, словно бы искомая теория в своей полноценной форме всегда в каком-то смысле присутствовала в истории, даже если тем или иным мыслителям не удалось ее «обнаружить» [Bury 1932: 7], даже если она периодически «пропадала из поля зрения» [Weston 1965: 45], даже если целая историческая эпоха оказалась неспособна (подразумевается, что попытки *были*) «подняться до ее понимания» [Raab 1964: 2]. Кроме того, описание развития теории в языковом плане очень часто приобретает сходство с описанием растущего организма. То обстоятельство, что идеи предполагают наличие субъекта речи, легко упускается из виду, когда сами идеи поднимаются и вступают в бой. Так, мы можем прочитать, что идея прогресса «родилась» без помех, поскольку к XVI веку «преодолела препятствия на пути к своему появлению» [Bury 1932: 7] и «твердо встала на ноги» в следующее столетие [Sampson 1956: 39]. А вот идее разделения властей пришлось нелегко: хотя у нее почти получилось «возникнуть» во время Гражданской войны в Англии, но «так и не удалось полноценно развиться», поэтому прошел еще век «со времен Гражданской войны в Англии до середины XVIII столетия, пока сформировалась и возобладала трехчастная структура» [Vile 1967: 30].

Подобное одушевление теорий, в свою очередь, порождает историографическую нелепость двух видов, оба из которых не просто преобладают в этой области исторической науки, но кажутся в большей или меньшей степени неизбежными при использовании данной методологии. Первая разновидность данной нелепости – тенденция искать приближения к идеальному типу, принимающая формы неисторического исследования, почти полностью посвященного указанию на более ранние «прообразы» будущих теорий и рассмотрению каждого автора с точки зрения того, как он предвосхитил их появление. Таким образом, Марсилий примечателен тем, что «с необычайной дальновидностью» предвосхитил Макиавелли [Raab 1964: 2]; Макиавелли – тем, что «проложил дорогу Марксу» [Jones 1947: 50]; теория знаков Локка – как «предвосхищение метафизики Беркли» [Armstrong 1965: 382]; теория причинности Гленвилла – тем, «до какой степени он в ней предвосхитил Юма» [Popkin 1953: 300]; подход Шефтсбери к проблеме теодицеи – тем, что он «отчасти предвосхитил Канта» [Cassirer 1955: 151][54]. Иногда претензии на историчность и вовсе отодвигаются в сторону, и писателей прошлого просто хвалят или обвиняют в зависимости от того, насколько им удалось предвидеть, какими мы станем. Монтескьё «предвосхищает идеалы полной рабочей занятости и государства всеобщего благосостояния»: это свидетельствует о его «выдающемся, остром» уме [Morris 1966: 89–90]. Макиавелли рассуждает о политике в точности как мы: в этом его «неизменная актуальность». Иное дело – его современники: их политические взгляды были «абсолютно нереалистичными» [Raab 1964: 1, 11][55]. Шекспир («по сути, политический автор») скептически относился к «возможности межрасового, межконфессионального общества»; это один из признаков его значимости как автора «текстов, направленных на нравственное и политическое воспитание» [Bloom, Jaffa 1964: 1–2, 4, 36]. И так далее.

---

[54] Судя по анализу Кассирера, подчас кажется, будто вся эпоха Просвещения старалась проложить дорогу Канту.

[55] Примечательно, насколько методологическая наивность, стоящая за этим и многими другими подобными предположениями, осталась незамеченной в ходе обсуждения этой сильно переоцененной книги. Другую резкую, но убедительную оценку можно найти в работе: [Anglo 1966].

Вторая историографическая нелепость, порожденная этой методологией, вылилась в бесконечные споры – почти исключительно семантического характера, хотя позиционируются они как эмпирические, – о том, можно ли сказать, что та или иная идея «действительно возникла» в это время и «действительно ли она присутствует» в работе того или иного автора. Возьмем снова работы по истории теории разделения властей. Присутствует ли уже эта теория в трудах Джорджа Бьюкенена? Нет, ведь он «не представил ее с достаточной четкостью», хотя «ничья формулировка не оказалась ближе» [Gwyn 1965: 9]. Но, возможно, она уже «появилась» во время восстания роялистов 1648 года? Нет, ведь это все еще не «теория в чистом виде» [Vile 1967: 46]. Или возьмем исследования по истории теории общественного договора. Может быть, она «уже есть» в памфлетах гугенотов? Нет, поскольку их идеи «недостаточно развиты» (отметим, что здесь снова само собой разумеется, что они *пытаются* развивать эту теорию). Но, возможно, она фигурирует у их противников – католиков? Нет, потому что их формулировки все еще «неполны», хотя и представляют собой «значительный шаг вперед» [Gough 1957: 59].

Таким образом, первый тип мифологии теорий – в его разнообразных проявлениях – состоит в ошибочном присвоении отдельным разрозненным или случайным замечаниям классического автора статуса его «теории» по одной из тем, размышления на которые историк *привык* ожидать. Второй тип мифологии, к которому я теперь перехожу, можно назвать противоположностью этой ошибки. В этом случае мыслитель-классик, которому явно не удается выдвинуть опознаваемую теорию по одной из традиционных тем, подвергается критике за свою неспособность это сделать.

В работы по истории этических и политических идей постоянно закрадывается демонологический (при этом обладающий большим авторитетом) вариант этой ошибки. Утверждается, что этические и политические теории опираются или должны опираться на вечные или по крайней мере традиционные «критерии истины» [Strauss 1957: 12]. Поэтому считается правильным, исследуя историю этих предметов, говорить о «нарочитой сниженности регистра», который, как предполагается, характеризует современное автору ви́дение «жизни и ее целей», и основным предметом работы сделать вопрос о том, кто виновен в этом упадке [Bloom, Jaffa 1964: 1–2][56]. Гоббса, а иногда и Макиавелли начинают обвинять в грехопадении первого человека[57]. Затем обязательно звучит похвала или порицание их современникам в зависимости от того, признавали те или отвергали соответствующую «истину»[58]. Главный приверженец этого подхода, говоря о политических трудах Макиавелли, «не колеблется заявить», что учение Макиавелли следует осудить как «аморальное и безбожное» [Strauss 1958: 11–12]. Не колеблется он и предположить, что подобный обвинительный тон как нельзя лучше подходит для достижения заявленной цели – «понять» сочинения Макиавелли [Strauss 1958: 14]. Здесь парадигма, усвоенная в области представлений о природе этической и политической мысли, определяет направление всего исторического исследования. История может быть переосмыслена только при отказе от такой парадигмы. Оставляя в стороне вопрос, насколько эта парадигма подходит для того, чтобы применять ее к прошлому, сам по себе это удивительный пример тупика, в который может зайти историческое исследование.

Однако основная разновидность указанного выше типа мифологии теорий состоит в том, что классикам приписываются теории, которые считаются соответствующими предмету их мысли, но которые они по необъяснимым причинам не догадались сформулировать. Иногда она возникает как проекция того, что говорили эти великие люди, на какие-то размышления на другие темы, которых они не касались. Фома Аквинский мог не высказываться на тему «глу-

[56] См. общую критику этого взгляда на политическую философию как на попытку выразить или возродить некие «вечные истины»: [Kaufman 1954]. В защиту этого взгляда выступал (возможно, несколько резко) Джозеф Кропси: [Cropsey 1962] – в качестве ответа на критику подхода Лео Штрауса, высказанную Стэнли Ротманом и опубликованную в том же выпуске.

[57] О Гоббсе см.: [Strauss 1953]; о Макиавелли см.: [Strauss 1958].

[58] См. пример подобной риторики в нападках на Эскема и в защите Кларендона: [Coltman 1962].

пости „гражданского неповиновения“», но, разумеется, «он бы это не одобрил» [Cranston 1964: 34–35]. А Марсилий, конечно же, одобрил бы демократию, ведь «независимость, которую он поддерживал, была правом народа» [Marsilius of Padua 1951–1956, I: 312]. Зато Хукер «не был бы полностью удовлетворен» демократией, поскольку «его собственные возвышенные, всеобъемлющие религиозные представления о праве оказались низведены до простого исполнения воли народа» [Shirley 1949: 256]. Подобные упражнения показались бы просто причудой, но у них всегда может возникнуть настораживающий подтекст, как в приведенных примерах: они превращаются в средство высказать свои предубеждения в отношении наиболее харизматических имен под видом безобидного исторического анализа. История в этом случае действительно превращается в серию трюков, которые мы разыгрываем с мертвецами. Тем не менее самая распространенная тактика заключается в том, чтобы ухватиться за какую-то теорию, которую данный автор все-таки должен был затронуть, хотя у него это и не получилось, и затем критиковать его за это так называемое упущение. Пожалуй, красноречивее всего об авторитете этого наиболее субстанциалистского подхода свидетельствует то, что он никогда не ставился под сомнение как метод изучения истории политических идей даже самым ярым противником субстанциализма среди всех современных политологов, Т. Д. Уэлдоном. В первой части его книги «Государства и нравы» приводятся различные «определения государства», которые политологи «формулируют либо принимают как данность». Предполагается, что все «теории государства делятся <…> на две основные группы. Некоторые определяют его как организм, другие – как механизм». Вооруженный этим открытием, Уэлдон предпринимает попытку «рассмотреть главные из предложенных теорий государства». Но здесь обнаруживается, что даже «те авторы, которые обычно считаются ведущими теоретиками в данной области», жестоко нас разочаровывают, поскольку лишь немногие из них излагают одну из двух названных теорий «без неувязок или даже противоречий». Гегель оказывается единственным мыслителем, сохраняющим «неизменную верность» одной из оговоренных моделей, развитие которых, как нам напоминают, является «первостепенной целью» каждого теоретика. Человек менее уверенный здесь задался бы вопросом, насколько подобное исходное определение того, чем должны были заниматься все эти теоретики, соответствует действительности. Но Уэлдону лишь «кажется весьма странным, что спустя более чем две тысячи лет сосредоточенных размышлений» тут по-прежнему царит такая неразбериха [Weldon 1946: 26, 63, 64]. Более того, справочная литература изобилует такого рода более или менее неосознанным применением мифологии теорий. Возьмем, к примеру, место, которое в политической мысли занимают вопросы, связанные с процессом голосования и принятия решений, а также с общественным мнением в целом, – вопросы, достаточно весомые в контексте новейшей демократической политической мысли, однако мало волновавшие теоретиков, которые писали свои труды до установления современных представительных демократий. Едва ли историкам здесь нужно какое-то предостережение; тем не менее это не удержало комментаторов от критики «Государства» Платона за то, что в нем «не учитывается авторитет общественного мнения» [Sabine 1951: 67]; или от упреков Локку за то, что во «Втором трактате» тот опускает «все отсылки к семье и расе» и «не объясняет с достаточной ясностью» своей позиции в вопросе о всеобщем голосовании [Aaron 1955: 284–285]; или от удивления тому обстоятельству, что ни один из «выдающихся теоретиков политики и права» не уделил никакого внимания процессу принятия решений [Friedrich 1964: 178]. Возьмем также вопрос о социальной основе политической власти – вопрос, опять же, очень существенный для современной демократической теории, но представляющий малый интерес для теоретиков доиндустриального общества. Риск для историка вновь очевиден, но и здесь комментаторы не удержались от того, чтобы поставить в упрек Макиавелли[59], Гоббсу[60]

[59] О «существенном упущении» Макиавелли см.: [Plamenatz 1963, I: 43].

[60] Бертран Рассел в «Истории западной философии» говорит о том, что Гоббсу не удалось «осознать важность конфликта

и Локку[61], что никто из них не внес ничего «по-настоящему нового» [Lerner 1950: xxx][62] в эту обсуждаемую почти исключительно в XX веке проблему.

Едва ли менее поверхностная и еще более распространенная форма этой мифологии состоит в том, чтобы критиковать классических авторов в соответствии с – совершенно предвзятыми – представлениями, что они должны были хоть в каких-то из своих сочинений со всей возможной системностью изложить собственные взгляды по той или иной теме, поскольку они были способны это осуществить. Если сначала предполагается, например, что одна из теорий, выдвигаемых Хукером (наименее очевидным участником этой эстафеты классиков) в его «Законах», послужила «основой для понятия политического соглашения», значит, несомненным «пробелом в рассуждениях Хукера о политике» является то, что он совершенно не пытается доказать несостоятельность абсолютной власти [Davies 1946: 80]. Или если предположить, что Макиавелли в «Государе» в первую очередь стремился «охарактеризовать поведение тех, кто вовлечен в политику», тогда современный политолог запросто может заметить, что с этой точки зрения попытке Макиавелли присущи «явная однобокость и бессистемность» [Dahl 1963: 113]. Или если исходить из того, что «Два трактата» Локка включают в себя все теории в области «естественного права и политического общества», которые он мог пытаться сформулировать, то, безусловно, «можно с полным основанием спросить», почему Локку не удалось «обосновать теорию всемирного государства» [Cox 1960: xv, 189]. Или если считать, что одной из целей Монтескьё в «О духе законов» было заложить основы социологии знания, тогда, без сомнений, его «просчет» – в том, что он не называет ее основных категорий, и, без сомнений, «мы должны также вменить ему в вину», что он не в состоянии применить собственную теорию [Stark 1960: 144, 153]. Но все эти мнимые «неудачи», как и противоположная разновидность данной мифологии, не отменяют – учитывая, что неудача подразумевает попытку, – все того же ключевого и неизбежного вопроса: имел ли кто-то из этих авторов намерение – или даже мог ли его иметь – осуществить то, невыполнение чего ставится им в укор?

Теперь я перехожу ко второму типу мифологии, который, вероятно, обусловлен тем, что историк неизбежно *пытается* осмыслить идеи прошлого. Возможно (и так действительно нередко происходит), что какой-то классический автор не до конца последователен или что ему вовсе не удается сколько-нибудь упорядоченно сформулировать свои взгляды. Если под основной парадигмой исторического исследования подразумевается разработка теорий каждого из классических авторов по каждой из наиболее типичных проблем в рамках данной темы, то историк рискует поставить себе задачей внести в эти тексты системность, которой им может недоставать. Опасность, конечно, еще усугубляется общеизвестной сложностью, связанной с сохранением правильной расстановки акцентов и интонаций при пересказе, а также с соблазном найти в тексте «смысл», который можно было бы отделить от него и который проще сформулировать. Писать пособие по интеллектуальной истории значит регулярно впадать в этот соблазн, чем, к слову, и объясняется, почему справочная литература по этому предмету не просто плоха, но часто вводит в заблуждение, и почему эту трудность не удается обойти даже в тех пособиях, где «смысл» передан цитатой из авторского текста. Неизбежным следствием – которое можно проиллюстрировать на примере намного более авторитетных источников, нежели обзорные или учебные пособия по истории, – так или иначе становятся работы, подпадающие под определение мифологии системности. Исследования по истории этической и политической философии ею буквально пропитаны[63]. Поэтому если «с точки зрения современ-

между различными классами» [Russell 1946: 578]. Ученые спорят, жил ли Гоббс в таком обществе, в котором подобный вопрос не представлял ни малейшего интереса.

[61] Эндрю Хэкер отмечает это «явное упущение» как у Макиавелли [Hacker 1961: 192], так и у Локка [Hacker 1961: 285].

[62] Здесь говорится об отсутствии у Макиавелли «каких-то действительно новых идей, касающихся общественного устройства как основания политики» [Lerner 1950: xxx].

[63] Подобные же замечания о проблеме приведения к общему знаменателю различных «уровней абстракции» высказыва-

ных ученых» в «Законах» Хукера отсутствует системность, вывод заключается в том, что надо читать внимательнее, поскольку «системность» в них, несомненно, «присутствует» [McGrade 1963: 163]. Если возникает сомнение по поводу того, какие темы являются «ключевыми» для политической философии Гоббса, комментатор должен выявить «внутреннюю согласованность его теории», прочитав «Левиафана» несколько раз, пока – далее следует очень выразительная формулировка – он не увидит, что в доводах «обнаруживается некоторая последовательность» [Warrender 1957: vii]. Если в политических трудах Юма нет последовательной системы, «легко доступной» студенту, долг комментатора – «тщательно изучать одно сочинение за другим», пока – снова весьма красноречивая фраза – «любой ценой» не удастся должным образом продемонстрировать «высокую степень согласованности всего корпуса» [Stewart 1963: v – vi]. Если политические идеи Гердера «редко бывают последовательно разработаны», «разбросаны по его трудам и возникают иногда в самых неожиданных контекстах», то миссия комментатора, опять же, – в том, чтобы попытаться «представить эти идеи в виде какой-то системы» [Barnard 1965: xix] (см. также: [Barnard 1965: 139]). Ярче всего об этих многократно повторенных формулировках задачи исследователя говорит то, что чаще всего их авторы оперируют метафорами усилия или поиска; цель всегда в том, чтобы «прийти» к «универсальной интерпретации», «добиться упорядоченной картины системы авторских взглядов» [Watkins 1965: 10].

В ходе этой процедуры мыслям различных классических авторов придается упорядоченность и вид более или менее закрытой системы, которых они, возможно, так и не достигли или даже не пытались достичь. Если, например, исходить из того, что, интерпретируя Руссо, мы должны обнаружить его самую «основную мысль», то уже не будет иметь значения, что он в течение нескольких десятилетий обращался к нескольким весьма несхожим темам [Cassirer 1954: 46, 62][64]. Опять же, если мы изначально предполагаем, что любая мысль Гоббса должна была вписываться в целое его «христианской» системы, не будет ничего странного в том, чтобы обратиться к его автобиографии и в ней искать разъяснений по такому важному вопросу, как отношения между этикой и политической жизнью [Hood 1964: 28]. И если изначально предполагается, что даже Бёрк никогда серьезно не противоречил себе и не менял образа мыслей, что все им написанное составляет «последовательно изложенную моральную философию», то тогда не будет ничего необычного и в том, чтобы воспринимать «весь корпус его изданных текстов» как «единый пласт мысли» [Parkin 1956: 2, 4]. До некоторой степени представление о величине дистанции, которую преодолевают подобные попытки отчуждения мыслей автора от контекста, когда можно сказать, что они (минуя все страсти) «приобрели» некоторую системность, дает недавнее исследование, посвященное социальным и политическим идеям Маркса. Стремясь обосновать исключение мыслей Энгельса, его автор счел необходимым подчеркнуть, что Маркс и Энгельс были все же «двумя обособленными человеческими существами» [Avineri 1968: 3]. Разумеется, иногда случается, что цели и достижения какого-то автора настолько многообразны, что ставят в тупик даже таких комментаторов с их стараниями превратить его разрозненные мысли в упорядоченную систему. Но часто это лишь порождает противоположную форму исторической нелепости: подобное отсутствие системы становится поводом для укоризны. Например, представляется идеологически необходимым, а также удобным для понимания снабдить разнообразные утверждения Маркса какими-то общепринятыми заголовками. Однако, несмотря на старания исследователей, обнаружить подобную систему нелегко. Здесь мы можем сослаться на то, что в разное время его интересовали разные социальные и эконо-

лись Дж. Г. А. Пококом: [Pocock 1962]. Тенденцию к построению единой глобальной теории на основе текста также упоминает Питер Ласлетт в энциклопедической статье, посвященной истории политической философии [Laslett 1967: 371].

[64] Как отмечает в своем предисловии к этой книге Гэй, очень может быть, что в то время, когда писал Кассирер, настаивать на такой расстановке акцентов было полезно, но по-прежнему стоит вопрос, не ошибочны ли эти несколько предвзятые установки исследования.

мические проблемы. Тем не менее вместо этого в учебной литературе стало принято критиковать Маркса за то, что ему удалось «лишь фрагментарно» изложить то, что считается «его» основной теорией [Sabine 1951: 642]. Подобная критика звучит еще чаще, когда какому-нибудь автору сначала приписывается определенная модель, а затем ожидается, что он будет к ней стремиться. Если исходить из того, что все консервативные мыслители должны разделять одни и те же «органические» представления о государстве, значит, несомненно, такие представления «должны были быть» и у Болингброка и, несомненно, странно, что он не упорядочил свои идеи в соответствии со столь удобной схемой [Hearnshaw 1928: 243]. Или если мы изначально предполагаем, что любой философ, пишущий о справедливости, должен «развивать» одну из трех «основных» точек зрения на этот предмет, тогда то обстоятельство, что ни Платон, ни Гегель этого не сделали, безусловно, свидетельствует о том, что они, «по-видимому, избегают высказывать конкретную позицию» по данному вопросу [Adler 1967: xi][65]. Во всех подобных случаях системность или ее отсутствие, которое обнаруживается очень легко, перестает исторически отображать некий реальный ход мыслей. Написанная таким образом, история идей превращается в историю абстракций – историю мыслей, продумать которые в действительности никому не удалось, на таком уровне системности, которого на самом деле никто не достиг.

Возражения совершенно очевидны, но на деле их оказалось недостаточно, чтобы предотвратить развитие этой мифологии системности в двух направлениях, которые можно обозначить лишь как метафизические в самом уничижительном смысле слова. Во-первых, бытует поразительное, но нередко встречающееся мнение, будто вполне допустимо ради извлечения из работы автора какой-то более системно изложенной мысли игнорировать высказывания, где сам автор описывал свои намерения, или даже целые тексты, которые сделали бы систему автора менее упорядоченной. Для иллюстрации можно обратиться к современной литературе о Гоббсе или Локке. Если говорить о Локке, то теперь известно, что в своих ранних работах на темы этики и политики он пытался излагать и отстаивать явно авторитарную позицию[66]. Однако почему-то до сих пор возможно, располагая такими сведениями, воспринимать политическую философию Локка как систему взглядов, которые легко назвать взглядами «либерального» политического теоретика, не беря в расчет то, что такое определение в лучшем случае соответствует убеждениям пятидесятилетнего Локка, а тридцатилетний Локк сам бы их отверг [Seliger 1968][67]. Видимо, тридцатилетний Локк – это еще не «Локк»: степень «патриархальности», к которой не стремился даже Филмер. А что касается Гоббса, то его собственные развернутые высказывания свидетельствуют о том, какой именно он видел свою политическую философию. «Левиафан», как утверждается в обзорной части и в заключении, писался «ни с какой иной мыслью», кроме как, во-первых, показать, что «гражданские полномочия правителя, а также обязанности и свободы подданных» могут быть основаны «на известных естественных наклонностях человека», а во-вторых, что теория с таким обоснованием должна строиться вокруг «взаимных отношений защиты и послушания»: таким образом, политика рационального расчета опирается на некую смесь политики и психологии [Hobbes 1946: 466–467][68]. Тем не менее оказывается, что до сих пор можно утверждать, будто этот «научный фрагмент» размышлений Гоббса – лишь неуместно обособленный аспект трансцендентного «религиозного целого». Более того, тот факт, что сам Гоббс, по-видимому, не был осведомлен об этом более высоком уровне упорядоченности, становится поводом не для отказа от гипотезы,

---

[65] См. также: [Bird 1967: 22]. В предисловии к книге Бёрда содержится обещание, что «Институт философских исследований» продолжит «превращение» (sic) «хаоса различных воззрений» на другие темы «в упорядоченную систему четко определенных позиций». В числе этих тем – прогресс, счастье, любовь [Adler 1967: ix – xi].

[66] Для большей наглядности см. предисловие к «Двум трактатам о правлении» Локка в издании: [Locke 1967].

[67] Эти факты упоминаются лишь один раз [Seliger 1968: 209–210] и лишь затем, чтобы отмести их как нерелевантные.

[68] Вокруг этой характеристики, конечно, возникало много споров, и, несомненно, здесь она сформулирована слишком смело. Более подробное обоснование см. в моей статье: [Skinner 1964].

а для контраргумента в ее пользу. Гоббс попросту «недостаточно хорошо объясняет», что его рассуждения о человеческой природе «на самом деле» служат религиозной цели. «Было бы понятнее», если бы Гоббс писал «в терминах нравственных и гражданских обязанностей» и, таким образом, обнаружились «подлинная целостность» и религиозный, по сути, характер всей его «системы» [Hood 1964: 64, 116–117, 136–137].

Другой метафизический постулат, порожденный мифологией системности, предполагает не только то, что в работах автора наличествует некая «внутренняя согласованность», выявить которую должен комментатор, но и то, что все очевидные препятствия к ее выявлению, возникающие как следствие очевидных противоречий в авторском тексте, в действительности не могут служить препятствиями, потому что не могут быть настоящими противоречиями. То есть утверждается, что в такой спорной ситуации вопрос должен состоять не в том, был ли данный автор непоследователен, а скорее в том, «чем можно объяснить эти противоречия (или явные противоречия)?» [Harrison 1955]. Ответ, подсказываемый принципом бритвы Оккама (что явное противоречие может просто *быть* противоречием), похоже, в расчет не берется. Вместо этого нередко звучит мысль, что подобные очевидные неувязки следует не оставлять нерешенными, а использовать так, чтобы они послужили «более полному пониманию всей теории» [Macpherson 1962: viii], где противоречия, по всей видимости, составляют лишь неразработанную часть. Само предположение, что «противоречия и расхождения» у какого-либо автора могут «рассматриваться как доказательство того, что его взгляды менялись», было отвергнуто очень влиятельным авторитетом как очередное заблуждение ученых XIX столетия [Strauss 1952: 30–31]. Вот почему получается, что современная практика истории идей часто осознанно руководствуется одной из наиболее фантастических схоластических доктрин – убеждением, что следует «разрешать противоречия». Поэтому цель изучения, например, политической философии Макиавелли необязательно должна сводиться к чему-то столь тривиальному, как попытка проследить природу развития мысли и ее внутренних расхождений от «Государя» к более поздним «Рассуждениям». Вместо этого можно утверждать – и утверждается, – что настоящая задача заключается в том, чтобы так обобщить картину взглядов Макиавелли, чтобы можно было перенести постулаты «Государя» в контекст «Рассуждений» и тем самым разрешить все явные несоответствия[69]. Такая же тенденция наблюдается и в последних исследованиях социальной и политической мысли Маркса. Не может быть, чтобы взгляды Маркса просто развивались и менялись от гуманистических интонаций «Экономическо-философских рукописей» к разительно отличающейся от них, намного более механистичной системе, разработанной им более двадцати лет спустя в «Капитале». Предполагается, что либо задача должна заключаться в «структурном анализе мысли Маркса в ее целостности», так чтобы явные неувязки рассматривались как часть «единого корпуса» [Avineri 1968: 2]; либо сам факт существования более раннего материала должен служить основанием для утверждения, что «элемент мифа» так или иначе обязан присутствовать в более поздних трудах, демонстрируя постоянную «одержимость Маркса нравственным ви́дением действительности», вследствие чего можно говорить о несостоятельности претензий Маркса на научность, поскольку он «оказывается не исследователем общества, как сам утверждает, а скорее этическим или религиозным мыслителем» [Tucker 1961: 7, 11, 21, ch. XI][70].

---

[69] О таком подходе в числе других см.: [Cochrane 1961]. Это утверждение звучит в работах Шабо и (особенно) Майнеке. См. критический обзор подобных утверждений на основе важных научных наблюдений, касающихся взаимоотношений между «Государем» и «Рассуждениями»: [Baron 1961].

[70] Более того, в этой связи мы можем сделать полезный вывод, что «актуальность», обычно приписываемая классическим текстам, явно не распространяется на Маркса (этого пресловутого неактуального автора), поскольку вследствие своей религиозной одержимости он «мало что может нам сказать» о капитализме [Tucker 1961: 233]. Он «не только не внес никакого вклада, но причинил существенный ущерб» тем, что пытался сказать о свободе [Tucker 1961: 243].

На самом деле в пользу этой уверенности, что желательно попытаться разрешить противоречия, в последнее время были выдвинуты развернутые и интересные аргументы. Предполагается, что ключ к пониманию «промахов», допущенных «мастерами изящной словесности», лежит в учете влияния разного рода притеснений на искусство слова. В любую «эпоху преследований» пишущий вынужден прятать свои взгляды, расходящиеся с традицией, «между строк». («Это выражение, – обнадеживают нас, – разумеется, метафора».) Поэтому если «талантливый автор» в подобной ситуации словно бы противоречит сам себе, излагая свои мнимые взгляды, то «у нас есть основание заподозрить», что очевидное противоречие было намеренным сигналом «заслуживающим доверия и догадливым читателям», что в действительности он не согласен с теми традиционными положениями, которых, как может показаться, придерживается[71]. Основная трудность с доводами в пользу снятия противоречий заключается в том, что они основаны на двух априорных предпосылках, которые, будучи крайне маловероятными, не только не аргументируются, но подаются как «факты». Во-первых, само направление исследования задается неаргументированной предпосылкой, что оригинальность *обязательно* подразумевает оппозиционность. Это становится указанием, когда следует читать между строк. А во-вторых, любое истолкование, основанное на чтении между строк, надежно защищено от критики ссылкой на тот «факт», что «люди невдумчивые читают невнимательно» [Strauss 1952: 25]. Здесь перед нами (опирающееся исключительно на определенное толкование значений слов) утверждение, что не «увидеть» смысл между строк значит не быть вдумчивым читателем, а «увидеть» означает заслуживать доверия и отличаться догадливостью. Однако если мы потребуем каких-то более реальных эмпирических критериев, чтобы понимать, имеем ли мы дело с одной из таких «эпох преследований» или нет, и чтобы понимать, соответственно, должны мы или не должны читать между строк, то обнаружим лишь два замкнутых друг на друга довода. Когда нам следует *перестать* пытаться читать между строк? Единственный приведенный критерий – «когда интерпретация будет менее точной, чем если этого не делать» [Strauss 1952: 30]. Что же *отличает* эпоху гонений, что мы должны ожидать обнаружить между строками? С одной стороны, нам говорят, что «интересующая нас книга, вероятно, написана в эпоху преследований», если можно предположить в ней наличие тайнописи. А с другой стороны, для эпохи преследований, как утверждают, характерно то, что любому неортодоксальному автору приходится осваивать эту «своеобразную технику письма» между строк [Strauss 1952: 24, 32]. Несмотря на такое развернутое обоснование, остается неясно, как весь этот поиск «внутренней согласованности» теорий определенного автора может привести к чему-либо, кроме мифологии системности, – мифологии, повторюсь, в том смысле, что написанная с опорой на данную методологию история едва ли может предоставить какие-то собственно исторические сведения о мыслях, которые в действительности были у людей прошлого.

II

Обе разобранные мной мифологии исходят из того, что историк идей, анализируя работы конкретного автора, неизбежно *руководствуется* каким-то представлением об определяющих чертах дисциплины, в которую этот автор, как предполагается, внес некий вклад. Однако можно показать, что, пусть даже подобные мифологии процветают на этом уровне абстракции, они едва ли появятся или по крайней мере их будет намного легче распознать и развенчать, когда историк переходит к уровню, где он просто описывает внутреннюю структуру и аргументацию отдельно взятой работы. Часто утверждается, что на этом более конкретном уровне не может возникнуть никаких особенных проблем, если речь идет просто о препарировании

[71] Такую теорию выдвигает Штраус: [Strauss 1952: 24–25, 30, 32].

содержания и доводов какого-то классического текста. Тем более необходимо подчеркнуть, что даже на этом этапе мы по-прежнему сталкиваемся с дилеммами, связанными с доминированием той или иной парадигмы, и, соответственно, по-прежнему встречаемся с примерами того, как историографический комментарий может соскальзывать в мифологию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.